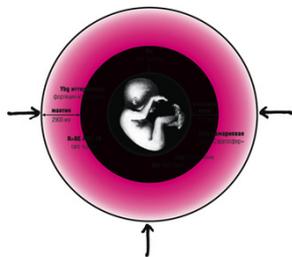


**ВАСИЛИЙ
АКСЁНОВ**

РЕДКИЕЗЕМЛИ

РОМАН



Василий Павлович Аксенов

Редкие земли

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172935
Редкие земли: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-20816-6, 978-5-699-22161-5*

Аннотация

Новый роман всемирно известного автора.

Связи и талант главных героев превращают их из молодых лидеров ЦК ВЛКСМ в олигархов. Владение империей добычи редкоземельных металлов, неограниченная власть денег, насилие со стороны силовых структур: редкий металл выдержит такое. Смогут ли редкие люди?

За полуфантастическими, но тесно связанными с реальностью событиями любви и жизни наблюдает из Биаррица писатель-летописец Базз Окселотл...

Содержание

I. Тamarисковый парк	4
II. Непохожий на Ахилла	15
III. Узник краснознаменного изолятора	27
IV. Позор! Долой!	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Василий Аксенов

Редкие земли

I. Тамарисковый парк

Основным растением Биаррица является тамариск. Им засажены бульвары над океаном, существуют и целые парки тамарисков. Удивительные деревья! Представьте себе корявые и темные стволы с кронами нежнейшей светло-зеленой хвои. Многие из этих стволов, если не большинство, выглядят так, будто они уже давным-давно отжили свой век, будто изъедены изнутри то ли паразитами, то ли какими-то чрезвычайно тяжелыми многолетними переживаниями. Искривленные и раскоряченные, иной раз разверстые, словно выпотрошенные рыбы, они открывают во всю свою небольшую, ну, максимум метра три-четыре, высоту продольные кавернозные дупла. Создается впечатление, что они и стоят-то исключительно на одной своей коре, через нее получая питательные соки и исключительную, учитывая частые штормы, устойчивость. Поднимите, однако, руку и погладьте тамарисковую хвою, этот своего рода деликатнейший укроп; вряд ли где-нибудь еще вы найдете столь удивительную нежность и свежую романтику. Получается что-то вроде нашего исторического комсомола.

При чем тут комсомол, удивится читатель, и нам тут останется только развести руками. Как так при чем? Ведь именно на корявых стволах уродливой идеологии произрастала в течение стольких десятилетий наша молодежь. Тамариск с его дуплистыми и будто бы дышащими на ладан, черными нагнетающими непроходимый лабиринт стволами и его нежно-зеленой противостоящей вихрям хвоей творит метафору, привлекающую поэтов. Отец символизма Бодлер не обошел это дерево в своих «Цветах зла», и спустя десятилетия Брюсов предложил перевод тамарисковых строф российскому читателю:

И тамарисковых дыхание лесов,
Что входит в грудь мою, пlying к воде с откосов,
Мешается в душе с напевами матросов...

Прошло едва ли не сто лет, и петербуржанин Найман присовокупил к этому и свой вклад в тамарисковую бодлериану:

Почему же, дитя, тебя Франция манит,
Тесный край наш, что жатвой страдания занят,
И, доверясь матросам на время пути,
Тамарискам любимым ты шепчешь прости?

Таков и наш давно уже почивший в бозе комсомол: вместе с отвержением он творил и притяжение. Вспомним хотя бы исторический период послесталинской «оттепели». Нежданно-негаданно гигантская структура «помощников партии», палаческая комса, в которой, собственно говоря, и черпала Революция кадры для своей чрезвычайки, принялась расширять границы не вполне формального творчества, открывать «молодежные кафе», патронировать выставки авангарда и покровительствовать джазу. Вот так на уродских стволах нарастал укроп, а то и трава-пастернак.

В конце мая 2004 года я приехал из Москвы в Биарриц, для того чтобы затеять новую повесть. В ноябре 2003-го в этом курортном городе, стоящем на прибрежных скалах над вечно гудящим Атлантическим океаном (будем иной раз называть его просто Водоемом, или, еще лучше, Резервуаром), мне удалось в режиме форс-мажор завершить трехлетний труд, своего рода фантазию на исторические темы. Теперь это место, естественно, казалось мне залогом нового хорошего труда.

По завершении долголетней работы всякий сочинитель испытывает основательную растерянность и опустошенность, или лучше в обратном порядке, о. и р., в некотором смысле состояние проколотой шины или – чтобы не слишком уж драматизировать ситуацию – баскетбольного мяча, теряющего звонкость при отскоке. Иной раз ему даже кажется, что полугипнотический кайф сочинительства уж никогда к нему более не вернется. Проходят недели, месяцы творческой вялости, и вдруг в какой-то трудно уловимый момент он ощущает, что начался период своеобразного поддува. Многолетний опыт подсказывает ему, что пора обзавестись каким-нибудь альбомчиком, лучше всего с хорошей плотной бумагой, с картонной обложкой, крытой какой-нибудь мягкой тканью, и начать вписывать туда, то есть в альбомчик, всяческий вздор, который впоследствии подтянет его к компьютеру.

С таким альбомчиком я как раз и приехал в тамарисковый город, в свой домик, расположенный на склоне цветущего холма в шестистах метрах от Водоема, если по прямой, то есть на крыльях. Я мало кого здесь знал, по-французски почти не говорил, иными словами, я попадал здесь в идеальную для сочинительства среду почти полного уединения, если не считать стайки длиннохвостых баскских сорок, прилетавших в сад, чтобы украсть какой-нибудь отсвечивающий на солнце предмет, вроде очков или портсигара.

Открыв альбомчик и включив компьютер, все еще резвый, как всякий трехлетний жеребец, я начал раскачиваться в кресле, поджидая появление первой фразы. Не успела она сложиться, как зазвонил мобильный телефон. Это был Лярокк, пожалуй, единственный из так называемых «биарро», то есть из общества местной элиты, кого я тут знал. Я познакомился с ним прошлым летом на пляже. Вдруг среди сотен отдыхающих заметил двухметрового загорелого старика с большим вялым зобом, с морщинами, не пощадившими даже подмышек. Пригнувшись и вытянув вперед некогда мощные длани, старче играл в мяч с шестилетним внуком. По его удивительным кистевым пасам я понял, что вижу профессионального баскетболиста. «Ваши передачи, сэр, напоминают мне Джона Рассела или, скажем, „Доктора“ Ирвинга», – сказал я ему по-английски. Он усмехнулся: «А вы, я вижу, знаток». Так мы познакомились, а потом стали иной раз встречаться на довольно заплеванной муниципальной баскетбольной площадке по соседству с Коллеж Андре Мальро. Учащиеся этого заведения обычно фланировали с марихуаной по соседству в тамарисковой аллее, на фоне стены с безобразными граффити. Мальчик, например, набирал полный рот сладкого дыму, а потом сливался с девочкой в затыжном поцелуе. Когда поцелуй распадался, дым уже выпускала девочка. Вот такое тут росло многообещающее поколение. Заторчав в жизнерадостном веселье, ребята выходили на площадку и предлагали двум дедам сразиться в «баскет», то есть с ударением на последнем слоге. Мы их, признаться, разносили в пух и прах: я бросал издали, а Лярокк работал под щитом на подборе. Впрочем, они этого своего позора, кажется, не замечали, уж не говоря о том, что вся их игра сводилась к пробежкам и двойному ведению.

Пару раз мы посидели с Лярокком в кафе, и я понял, что имею дело со стопроцентным плейбоем. Баскетбол был спортом его студенческой юности в Штатах, из-за чертовой игры он не стал МФА, ограничился степенью бакалавра. Впрочем, на кой они сдались, эти американские дипломы: во Франции это всего лишь повод для беспардонных шуток. Поиграв пару сезонов в NBA – ну за так называемых «Кавалеров» – и заработав кучу денег – ну что-то вроде «лимона», а по нынешнему курсу десять «лимонов», – он уехал на Гавайи, а оттуда в океанскую Францию, то есть на Таити. Вот оттуда он и привез в родной Биарриц несколько

досок для сёрфа. Это были настоящие доски, тяжеленные, склеенные из нескольких пород гавайского дерева, не чета нынешней «высокой технологии». Собственно говоря, именно он, Лярокк, и стал здесь основателем французского сёрфинга, с которым он и провел всю свою жизнь, полную солнца, ветра и волн. Слышали вы что-нибудь о «школе Лярокка»? Как так, Базиль, обретаетесь здесь уже не первый год и не слышали ничего о «школе Лярокка»? Да вы спросите даже сейчас какого-нибудь мальчика из Скандинавии или с Британских островов, и он вам скажет, что мечтает об этой школе. Ну да, Лярокк зарабатывает неплохо на этом деле, но вообще-то деньги ему не нужны: ведь он наследует какой-то навозный-с-химикалиями бизнес в Лорэйне.

Ну вот, собственно, и все, что связывало меня с этим стариканом: кое-какая болтовня, кое-какие полеты туго накачанного мяча, кое-какой звонкий неторопливый по старости лет дриблинг. Он никогда мне до этого не звонил, и я не был даже уверен, что давал ему когда-нибудь номер моего мобильного.

«Послушай, олд чап, – сказал он (интересно, что этот „олд чап“, или в русском эквиваленте „старик“, сопровождает тебя всю жизнь с юных лет и вот вдруг опять появляется в обиходе, когда „чап“ уже „олд“, кроме шуток), – почему бы тебе не разделить завтрак с небольшой компанией моих старых друзей в Кафе де ля Гран Пляж? Чтобы завлечь тебя, могу сказать, что в Водоеме перед нашими глазами будут гарцевать восемь выпускников „школы Лярокка“. Поверь, эта штука посильнее любого баскетбола».

Итак, в это первое же утро благих творческих намерений я закрыл свой лэптоп, положил на него альбомчик, а сверху накрыл это хозяйство клеенкой, чтобы ненароком угрызения совести не накапали. Чтобы успокоить эту самую совесть, я убеждал себя, что этот столь неожиданный звонок имеет какое-то отношение к моему совершенно еще невнятному замыслу. Должен признаться, что уже в процессе «поддува» начинаешь как-то иначе взирать на происходящие вокруг даже незначительные события.

День был штормовой и холодный. По небу, наползая друг на друга и завихряясь, шли бесконечные полчища варварских туч. Скатываясь в своем «Рено Кангу» по Виктору Гюго к центру города, я видел в конце этой улицы титанические волны, атакующие наши утесы. Центр шикарного Биаррица вообще-то напоминает фрагмент Елисейских Полей или какую-нибудь рю Риволи, с той только разницей, что его поперечные улицы открываются на редко спокойный, но нередко бушующий Океан. Повернув с Гюго на Клемансо, что переходит в Эдварда Седьмого, я доехал до величественного Отеля дю Палэ, свернул налево и дальше покатил в обратном направлении уже вдоль Большого Пляжа к массивному, но не лишённому какого-то фашистского изящества в стиле арт-деко, зданию казино. Там я оставил свой мини-фургон в подземном паркинге и поднялся на поверхность. Сильный ветер чуть не сбил меня с ног. Пляж был пуст. Знаменитые скалы Биаррица дымились водной пылью под ударами волн. Они, то есть волны, перехлестывали через эти мини-острова, то есть скалы, и падали вниз мгновенными водопадами. Приспособившись к порывам ветра, я обогнул казино и, придерживая шляпу, двинулся к Кафе де ля Гран Пляж, которое обычно выставляет свои столики прямо на плитах променада. Признаться, я мало рассчитывал в такую непогоду встретить за этими столиками компанию Лярокка, однако через несколько шагов я увидел группу медам и месье, стильное общество в шарфах и кардиганах, числом не менее дюжины, непринужденно расположившееся в плетеных креслах. Загорелый старче Лярокк возвышался в их сердцевине.

Позднее я ближе познакомился с этими «биарро», поэтому сейчас, задним числом, могу представить читателю нескольких активных участников предстоящего диалога, как всегда довольно бестолкового в подобных мизансценах. Здесь был банкир Контекс, две сестры-красавицы из обширного клана Лакост, тренер местного регби Фузилье, семейство Ранжель де Гард в составе деда, родителей, сына и невестки с огромным сенбернарром Гругрутуа.

Верхом на могучем звере сидел тот самый внук Лярокка, с которым он играл в мяч на пляже. В принципе, мальчик мог бы преспокойно быть его правнуком, подумалось мне.

Мой приход прошел почти не замеченным, поскольку все общество в этот момент наблюдало Водоем. Из рук в руки передавался артиллерийский бинокль господина Контекса.

Там, среди идущего стена за стеной наката, чернели торсы сидящих на своих досках сёрферов. Этих ребят, что часами торчат в воде, подкарауливая свою волну, чтобы встать на доске в полный рост, скатиться вниз, а потом лечь на плавательный снаряд и грести обратно к месту встречи, можно по праву назвать «тружениками моря». Встречаясь с этими молодцами в городе, ну, скажем, в аптеке, где они запасаются пластырями, я видел в их глазах специфическую отрешенность и думал, что им, пожалуй, марихуана не требуется.

«Прошу внимания, – сказал Лярокк, – сейчас они все встанут!» К пляжу, закрывая горизонт и дымясь, двигалось то, что в масляной живописи позапрошлого столетия называлось «девятый вал». В принципе, во время таких штормов по здешним правилам запрещается входить в море, однако купальный сезон еще не начался, спасательная служба пока не появилась на пляжах, этим, очевидно, и пользовались лярокковские смельчаки. И вот, едва волна достигла своего апогея, все восемь фигур одновременно воздвиглись на ее гребне. И в этот как раз момент, хотите верьте, хотите нет, в тучах возник глубокий проем, и солнечный луч осветил триумфальное шествие: восемь атлетических фигур, идущих к берегу вместе с волною, – зрелище, достойное ошеломляющего восхищения! Вся наша компания застыла с открытыми ртами. Сколько длился этот апофеоз, минуту или две, трудно было понять: каждая секунда жила тут сама по себе, не сливаясь с волной секунд. Молнией прошли и застыли строчки Поэта: «Дни проходят и годы, и тысячи, тысячи лет. / В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, / Только ты-то их, море, и сводишь, и сводишь на нет!»

Семеро из восьми были в черных гидрокостюмах, один выделялся оранжевым цветом обнаженного тела с чреслами, облепленными длинными, по колено, гавайскими шортами. Все они двигались так, будто в море возможен отрететированный балет: стремительный спуск, крутой поворот, проход поперек волны, еще поворот и завершение спуска. Все они одновременно легли животами на доски, когда волна пошла на убыль, и стали поворачивать обратно туда, где возникал сёрф, и только один, тот оранжевый, позволил себе дополнительный трюк. Пустив в ход все без исключения мышцы тела, он толчком оторвался от своей доски и на мгновение завис в воздухе. В течение этого мгновения доска, ушедшая от толчка в воду, выскочила на верхушку следующей волны, и он опустился на нее обеими ногами, после чего помчался, маневрируя, все ближе и ближе, чтобы выскочить на пляж с доской под мышкой.

Он направлялся прямо к столикам кафе. «Этот Ник, – пробурчал якобы рассерженный Лярокк, – он вечно старается выделиться из команды, однако, господа, прошу принять во внимание, что ему всего лишь тринадцать лет».

«Тринадцать лет! – ахнули сестры из клана Лакост. – Но он выглядит, ах, позвольте, но он выглядит, этот юноша, по меньшей мере на восемнадцать!»

Выскочивший из моря приближался. Он был похож на эллинского героя или даже на юного Адама, как того представляли себе некоторые живописцы. Ярко-оранжевый цвет кожи под ветром становился темно-оранжевым, и на этом фоне все сильнее разгорались победоносные глаза и зубы. Признаюсь, я не мог оторвать от него взгляда, как будто старался запомнить его облик для дальнейших описаний. Поражало отсутствие вроде бы необходимых деталей: мускулы его не были украшены даже и малейшими татуировками, равно как и лицо его головы не содержало ни единого «пирсинга» в том смысле, что ни единого колечка не замечалось ни в ухе, ни в носу, даже ни на одной из его бровей. О принадлежности к классу антиглобалистов свидетельствовали только высоко выбритые виски, оставляющие на макушке плотный пирог темно-русых волос.

«Прости меня, Лярокк! – воскликнул он, подходя. – Меня вдруг пронзило острее-шее, просто непреодолимое желание присоединиться к вашей компании. Надеюсь, не прогоните?»

К нему уже подбегали сенбернар и правнук великого плейбоя. Первый встал на задние лапы и лизнул сёрфера в ухо. Второй взял его за руку, словно старшего брата.

Пес продолжал дружески напрыгивать на Ника, а тот со смехом интересовался, нет ли у того родственника в Крыму, на склонах Ай-Петри. Дело в том, что там, в коммерческом питомнике, проживает копия Гругрутюа, гигант по имени Тиша. Разница только в том, что вместо ласки языком та злобная бестия откусила бы незнакомцу ухо. Кто-то, кажется, именно я, подвинул герою кресло, и тот без церемоний в нем уселся, водрузив маленького мальчика себе на правое колено.

«Послушай, Лярокк, какой у тебя изумительный правнук! – сказал Ник. – Может быть, скажут, что я во всем ищущу тождества, но что делать, если он твоя вылитая копия!» Похоже было на то, что он слегка подхалимствует, чтобы загладить свой индивидуалистический проступок.

«Это мой сын Дидье», – внес поправку глава знаменитой школы.

Ник без всякого смущения пришел в еще больший восторг. «Дидье, тебе повезло започтить такого отца, как неповторимый Лярокк! А кто твоя мама, мой маленький Дидье?»

Надо отдать должное Дидье: вместо того чтобы ткнуть пальцем в одну из сестер Лакост, он послал ей через стол воздушный поцелуй. Девушка зарделась.

Следует сказать, что начало диалога, к моему вящему удовольствию, проходило на английском, а удивительный тинейджер, нисколько не смущающийся светским обществом, говорил на первосортной британской версии, с ее неизменными придыханиями.

«Так представьте же нам нашего героя», – попросил господин Контекс на самой третьесортной версии этого языка, то есть на коммерческом инглиш. Тут я придвинулся к столу, чтобы не пропустить ни единого звука.

«Это Ник Оризон, – сказал Лярокк. – Он англичанин».

«Бедный мальчик! – захопотали тут красавицы Лакост. – Сидит обнаженный на таком ветру!» Тут же ему были предложены шали и перуанское пончо. Он героически, но в то же время с исключительной вежливостью отвергал эти проявления тепловой заботы. Во время этой возни каждый мог убедиться, что перед нами был несовершеннолетний индивидуум: щеки его явно еще не были знакомы с бритвой.

«Как же так получается, Ник? – спросила младшая из сестер, Дельфина. – Все тут кутаются, а вам хоть бы хны. Красуетесь в одних шортах».

«Так ведь я прилетел сюда прямо из Бразилии, – ответил мальчик. – Но вообще-то, леди и джентльмены, я не очень-то реагирую на резкие скачки температуры. Да-да, не удивляйтесь, дело в том, что я происхожу от нескольких поколений людей, привыкших к экстремальным ситуациям».

«То есть?» – подняла свои идеальные брови мадам Ранжель де Гард и придвинула к Нику корзинку с круассанами. Чуть забегаая вперед, можем сказать, что он подчистил эту корзинку не более чем за семь минут. Уплетая этих отборных представителей французской пекарни, он рассказывал о своих поколениях.

«Мой отец, господа, не раз бывал на обоих полюсах нашей планеты. Много раз дрейфовал. Мать моя тоже не была домоседкой. Будучи шкипером восьмиметровой яхты, с годовалым ребенком на руках пересекла осеннюю Атлантику. Да, со мной, мэм. Что касается деда, то он провел две трети своей жизни на подъемах и склонах восьмитысячников. Нет, сэр, речь идет не о бирже, а о ледяных гигантах Гималаев. Ну а бабка, стараясь превзойти супруга, избрала парашютный спорт и стала обладательницей дюжины мировых рекордов. Что касается прабабки...»

Излагая эту невероятную семейную хронологию, Ник обводил глазами компанию, а в один момент, как мне показалось, сделал мгновенную остановку на моей персоне. Между тем брови мадам Ранжель де Гард соединились в фигуре, напоминающей буревестника. «Этот юный англичанин нас определенно разыгрывает», – произнесла она по-французски. Юнец тут же возразил ей с обезоруживающей улыбкой на языке Вольтера: «Прошу прощения, мадам, но я никогда не позволяю себе разыгрывать взрослых. Да и со сверстниками я стараюсь держаться в рамках абсолютной корректности».

Все присутствующие были просто-напросто очарованы Ником Оризоном. Не прошло и получаса, как он получил приглашения остановиться в семье Ранжель де Гард, в приморском доме господина Контекса, в городском пентхаузе Фузилье, не говоря уже о многочисленных и самых разнообразных приглашениях от сестер Лакост. Стоит ли говорить о том, что все эти приглашения были благосклонно приняты удивительным мальчиком.

«А где ваш багаж?» – поинтересовалась Франсуаз, мама прелестного Дидье Лярокка.

«Все здесь. – Юнец показал на доску. – Там содержится все, что мне нужно для путешествий».

Доска, на которой удивительный подросток, чтобы не сказать, мутантный ребенок, только что совершил головокружительный проход вдоль волны с выходом на ее гребень и последующим триумфальным спуском, лежала перед обществом знатных «биарро», словно одушевленное существо. Бискайское небо к этому моменту уже достаточно-порядочно распогодилось. Тучи приобрели лиловатый оттенок. Нередкие уже солнечные блики то и дело брались поиграть вдоль всей ее (досковой) длины. Казалось, что доска вот-вот улыбнется своей носовой частью или вильнет задком на манер дельфиньего хвоста. Впрочем, друзья, не нужно поддаваться самообману: конечно же, это был не дельфин, а просто доска для сёрфинга, правда подвергнувшаяся некоторому преобразению под ловкими пальцами современного пытливого подростка. Общество слегка ахнуло, когда эти пальцы прогулялись по правому борту плавательного снаряда и как бы ненароком вытащили из открывшейся щели легчайший свитерок и мягкие туфли. Не знаю, как остальные, но я давно уже заметил, что длинные яркие шорты полностью высохли, как будто после океана успели побывать в сушильном автомате. Не исключено, что их ткань была пронизана какой-то специальной нагревающейся от тела нитью. Так или иначе, но теперь, в синем свитере, пестрых сухих шортах и туфлях, он был полностью экипирован и годен на обложку какого-нибудь из бесчисленных французских модных журналов. Увы, кажется, он отлично осознавал свою неотразимость. С этими своими ослепительными улыбками английский пацан (эта новая версия «маленького лорда Фаунтлероя») вряд ли годился (лась) в герои запутанного романа о советском комсомоле.

Через некоторое время я стал подумывать, как бы сбежать. Компания, собравшаяся вокруг старика Лярокка, подходила разве что для массовки. Даже в тамарисковый парк она как-то мало вписывалась, а что уж говорить о туманностях «поддува». Сейчас из моря вылезут остальные «труженики» «Школы Лярокка», и все отправятся к нему в поместье на «Дежене». Страна вступает в затяжной уикенд, связанный с одним из многочисленных французских праздников. Застолье будет долгим и веселым, а потом все разберутся по интересам: кто отправится на гольф, кто к лошадям, кто к коллекционным автомобилям; ну, а я-то куда отправлюсь, если останусь?

Не так давно один ресторатор сказал мне, что я уже как-то примелькался в этом небольшом городе. Многие, замечая меня на утренней пробежке по твердому песку во время отлива, думают, что я американец, другие, видя, как я набираю в книжном магазине периодику на непонятном языке, предполагают, что я русский; кто из них прав, месье? И те, и дру-

гие, ответственвал я. Однако в Москве и в Нью-Йорке многие принимают меня за француза. Не знаю уж почему: то ли седина с плешью несут в себе что-то французское, то ли манера забрасывать один конец шарфа за спину вызывает подозрение.

Все это надо поскорее записать в альбомчик: кто знает, а вдруг пригодится? Сделав вид, что приспичило, я покинул компанию и вошел во внутреннее помещение ресторана. Обернувшись к огромному окну, я заметил, что общество хохочет и аплодирует. На променаде в этот момент закрутился новый балет. На этот раз в нем принимали участие пес Гругругтуа, ребенок Дидье со своей юной мамой и еще более юной теткой, ну и, разумеется, несравненный суперподросток Ник Оризон. Он умудрялся прыгать в полном синхроне с прыжками пса, а приземляясь, прокручивал вокруг себя счастливое дитя и не менее счастливых мадемуазель Лакост. Никто, конечно, не заметил моего исчезновения; так, во всяком случае, я подумал в тот момент. Впрочем, ошибся: одна персона все-таки удостоила меня вниманием. Едва я закончил свои дела в туалете и вышел из ресторана через дальнюю дверь, как тут же натолкнулся на Лярокка. Тот стоял, опершись на могучую четырехгранную колонну казино, и казался памятником французскому баскетболу.

«Сплиттинг?» – спросил он.

«Да, знаешь ли, куча дел на столе, – промямлил я. – Очень благодарен тебе за приглашение. Отменный получился завтрак, общество просто классное».

«Но тебе оно, кажется, не очень-то подошло?» – Он взирал на меня с усмешливым любопытством.

«В каком смысле?» – удивился я.

Он пожал плечами. «Ну в смысле персонажей».

«Винсент!» – вскричал я.

«Базиль?» – Он изобразил своими морщинами то, что можно было бы назвать французской театральной лукавостью.

«С чего ты взял, что я оцениваю людей как персонажей?» – спросил я.

«Да ведь всякий писатель так делает, – с миной полнейшей наивности сказал он. – Ваш брат только тем и занят, что рыщет среди нашего брата в поисках персонажей. У меня когда-то был друг из пишущих, Эрнст Бэкон такой, мы с ним шлялись по Гонолулу в большой компании спортивного народа, а он потом взял и написал скандальную книжечку „Пить или не пить“. Всех превратил в персонажей».

«Никогда не поверю, что великий Эрнст Бэкон зарисовывал друзей в персонажи, – с непроизвольной грубоватостью сказал я. – Что ему, воображения, что ли, не хватало?»

«Я сегодня наблюдал за тобой, – хохотнул Лярокк, – и нашел в твоих взглядах что-то общее с Бэконом, которого ты считаешь великим. Ты на публику смотришь таким писательским оценочным взглядом».

«Да с чего же ты взял, что я писатель, дорогой Винсент Лярокк?!» – едва ли не с возмущением воскликнул я.

Он тогда вытащил из кармана сложенный вдвое вдоль «Лё Монд Уикенд». Там в середине фигурировала большая, на всю страницу, фотография вашего покорного слуги. Никогда не видел прежде такого отвратительного своего портрета в слизисто-болотных тонах. Где это меня нащупали таким мокрым, ведь обычно хожу сухой. Тренчоут весь обвис, как будто действительно только что из траншеи выполз. Взгляд ублюдочный, направлен с угрозой снизу вверх на какое-то незнакомое здание XVIII века, а ведь читатель знает меня как вроде бы просвещенную и благожелательную персону. Нельзя также не отметить нелепость позы: правая рука почему-то опущена в район колена, как будто фигура намерена подцепить с земли кирпич и запустить его в вольтеровские окна. Заголовок гласит, или, так скажем, базлает: «Базз Окселотл, провокатор космополитической литературы». К заголовку, в общем-то, не придерешься: в литературном контексте слово «провокатор» является едва ли не компли-

ментарным. Далее следуют две страницы текста, вопросы и ответы. Откуда все это взялось, кто насобачил? А вот и подпись: «Записал Жанполь Клаузе». Я вспомнил, как этот клязник сидел у меня в вирджинском доме, попивая какое-то мерло, подцепляя какой-то грузер, пере-скакивая с английского на русский, похохатывая на французском и все норовя передвинуться с литературных тем на личные. Ну, скажем, что это вы, Окселотл, в Америке-то разъезжаете на «Ягуаре», словно преуспевающий писатель, а у нас во Франции на своем «Рено Кангу» маскируетесь под водопроводчика? Это было чуть ли не полгода назад, я уже и думать забыл про это интервью, и вдруг, здрасте-пожалте, выскакивает в «Монде» в сопровождении полностью клеветнической фотографии.

«В общем, поздравляю, Базз», – сказал Лярокк.

«Да с чем ты меня поздравляешь, Винсент?»

«Как же с чем? Такая большая публикация!»

«Такая большая дрянь, Вэнс! Неужели этот хмырь похож на меня?»

«Вообще-то похож. Ну не очень, но сходство есть».

Я собрался было отчалить, но он меня попридержал с какой-то странной настойчивостью. Сунул мне в карман этот чертов журнал и посоветовал внимательно прочитать текст интервью. Возьми словарь и проштудируй. Со словарем ты все поймешь и увидишь, что Клаузе тут преподнес о тебе довольно интересную и вовсе не отрицательную информацию. Она принесет тебе пользу. Публика все-таки будет знать, что тут по пляжам прогуливается некий интригующий провокативный писатель, а не кто-нибудь другой. Высказав эту странноватую мысль, Лярокк прищурился. С высоты его чуть ли не семифутового роста светлые глазки, окруженные путаницей морщин, взирали на меня, словно два внимательных стража. Я поинтересовался, кого другого мог бы такой пенсионер, как я, напомнить публике, не будь этой статьи. Он улыбнулся. Базз, не злись, но до этой статьи я принимал тебя за пенсионера разведки. Тут уже мне ничего не оставалось, как расхохотаться и на баскетбольный манер хлопнуть его по дряхлым, но мощным ягодицам. На этом мы расстались.

Вечером этот неугомонный старпер снова мне позвонил. Я сидел в этот момент за компьютером и блуждал по каким-то туманным, обвешанным каплями дождя аллеям тамарискового парка. «Жаль, что тебя не было с нами, олд чап! – весело проскрипел он. – Ник Оризон снова всех покорила. Ты слышишь, как он играет на пиано?» В трубке слышался гул десятков голосов, прерываемый взрывами смеха. Сквозь все эти звуки доносилась превосходная джазовая игра на фортепиано. «Ты хочешь сказать, что это не Оскар Питерсон у вас там играет?» – спросил я. «Да это тринадцатилетний мальчишка играет, настоящее чудо! Вот уж не думал, что такой ренессансный тип растет в „Школе Лярокка“!» Все это подвыпивший старче лепил по-английски, хоть и с французскими ударениями; «МИракл», например, он произносил, как «мирАкль».

Звуки пиано и шум голосов стихли: Лярокк, очевидно, ушел с трубкой в другое помещение, скорее всего в туалет. Вот заструилось. «Послушай, Базз, неужели даже такое чудо ты не хочешь записать в свои персонажи? Ведь это же воплощенный Гарри Поттер!»

С минуту я что-то мычал под его трескотню, потом вдруг разоткровенничался. «Знаешь, Вэнс, тридцать три года назад в Советском Союзе я написал детскую приключенческую повесть. Главным героем там был вот такой примерно мальчик, как Ник Оризон. Он хорошо учился в школе и не терялся в трудных обстоятельствах, но вообще-то он был, так сказать, супермальчиком вроде твоего Ника, плавал, как рыба, и умел говорить на дельфиньем языке, владел техникой боя японских ниндзя, но главное, он страстно жаждал разрушить замыслы международной мафии и принести свободу беспечным жителям архипелага Большие Эмпи-рей.

Признаться, я написал этот пустячок лишь для того, чтобы подзаработать денег (мои главные вещи не имели тогда никаких шансов увидеть свет), но вдруг повестуха завоевала

неслыханный успех и стала тем, что сейчас называют «культовой книгой». До сих пор встречаю людей среднего возраста, которые мне говорят: «Я рос (росла) с ТОЙ вашей книгой». Для Советского Союза тогда это было что-то вроде «Гарри Поттера» сейчас для всего мира. Увы, мы жили в почти тоталитарной стране, и я даже в самых буйных мечтах не мог рассчитывать на тиражи и ройялтис мисс Роулинг. В конце концов я заработал жалкую сумму, что-то вроде пяти тысяч деревянных рублей, и попал, как всегда, под подозрение идеологических органов. Окселотл, дескать, насаждает вредный для подрастающего поколения «паниронизм».

Все-таки издательство заказало мне продолжение повести, и я, будучи тогда в великолепном настроении, быстро накатал еще более успешную книгу, в которой моему герою уже исполнилось тринадцать лет, то есть он достиг возраста Ника Оризона и влюбился в одноклассницу. И снова – большой успех, улыбки, хлопки по плечу, браво, браво, Окселотл, ты уловил общее настроение; и снова нахмуренные идеологические брови. Третью книгу издательство уже не заказало, хоть и было у них намерение завершить это дело в виде трилогии. По прошествии лет я об этих шалостях забыл, и только сегодня, когда я увидел твоего Оризона, что-то усмешливое шевельнулось в памяти».

«Ну вот и напиши теперь третью книгу, – весьма серьезным тоном посоветовал Лярокк. – Заверши трилогию. Пусть местом действия будет Биарриц. Здесь нет никаких идеологических органов».

«Это невозможно, Вэнс, – хмыкнул я. – Ведь моему герою сейчас сорок три года».

«Ага, значит, у тебя все-таки был какой-то реальный прототип? – с удивительной для баскского октодженериана толковостью предположил Лярокк. – Значит, ты все-таки ищешь и находишь персонажей среди публики?»

Я ничего не ответил.

Он тоже молчал.

Кто начнет говорить, думал я.

Я начну, решил Лярокк и завершил диалог: «Послушай, сейчас в небе царит превосходная полная луна. Освещение великолепное. Почему бы нам не повольниться в баскет?»

Через двенадцать минут мы встретились на площадке возле Коллежа Андре Мальро. Ночь была действительно захвачена полнолунием. Качались ветви высоченных платанов и низкорослых тамарисков. Было светло так, как это иной раз случается при завершении романов. С каким-то особым смыслом выделялась на стене абракадабра граффити. Звонкий стук отменно накачанного мяча. Я бросал по кольцу из центрального круга и тут же получал пушечные пасы Лярокка. Что может быть полезнее для стариков, чем ночная хореография баскетбола?

Через час я вернулся домой и добрался наконец до своего «Мака». Надел теплую куртку, шарф и уселся с прибором на коленях на выходящей к бесконечному водному зеркалу террасе. Ни ночи без строчки, талдычил я себе, ни ночи без какой-нибудь, пусть хоть самой завалышенькой строчки. И написал: «Таков и наш комсомол; выросший на корявых стволах идеологии, он все-таки умудрился взрастить на своей плешке шапочку благих начинаний». И заснул под умиротворяющий гул Резервуара.

Как ни странно, этот чудаковатый местный богач, не имеющий никакого отношения к нашим российским писаниям, что-то расшевелил в моем «творческом процессе». Особенно я ощущал это во время медленного джоггинга по утрам. Вот, скажем, я спускаюсь трусцой по серпантину высокого Берега Басков. Вдруг попадаю в зону интенсивного весеннего аромата. Что это цветет – жасмин, жимолость? Какие-то мгновенные тени пролетают мимо, чуть ли не касаясь плеча или макушки. Кто это тут шустрит? Жаворонок? Жирондель? Вот

клево, думаю я: жасмин-жимолость-жаворонок-жирондель – какое нежное жжение! Все это всасывается в роман, но тут же следует разочарование: никаких жиронделей в природе нет, а есть ирондель, ласточка. Так или иначе я вспоминаю спор с Ляроком о выборе персонажей: один-то, кажется, уже выбран, и не последний по значимости; это – Биарриц.

Спускаюсь до набережной. За парашютом распростерт отливный пляж шириной не менее двухсот метров. В прилив он исчезает, волны бьют прямо в парашют, но в отлив воцаряется апофеоз джоггинга. Я снимаю кроссовки и сую их в рюкзак. Под ногами мокрый твердый песок. Бегу на юг, в ту сторону, где к береговой линии подступают отроги Пиренеев. Отчетливо выделяются вдали поселки Серебряного Берега, Бидар, Гитари, Сен-Жан-де-Люс, Андай и самый отдаленный, уже испанский, город Онтараби. Привычный рельеф гор – среди них один четырехглавый шедевр – привычно напоминает контуры Восточного Крыма. Вдруг вспоминаю: ведь это именно в Крыму, в Коктебеле, встретился мне персонаж той «культовой книги», подросток, похожий на... похожий на... Я смотрю на компанию юнцов, пересекающую пляж с сёрф-досками под мышкой. Может быть, там, среди них, шествует тот ученик Лярокка... как его? Да, Ник Оризон. Подбегаю ближе, но они уже в воде, уходят через одну белопенную стенку за другой, к той основной, с которой можно стоя устремиться к берегу. Их тут будет все больше и больше с каждой неделей, пока в разгар сезона тысячи «тружеников моря» со всей Европы не наводнят пляжи как французской, так и испанской Басконии.

Итак, я бегу на юг с Пляжа Басков, потом, как все джоггеры, пересекаю закрытую в связи с возможным камнепадом зону, потом продолжаю бежать через Пляж Марбелла к Пляжу Миледи и далее к Пляжу Илбарриц и только здесь поворачиваю назад. Вся эта дистанция идет по твердому песку или по мелководью, возрастное тело мое вдыхает бриз, слышится ровный рокот Океана, и в этом рокоте я начинаю проборматывать какие-то стишки. Поймав себя на этом не очень-то пристойном для старого сочинителя прозы деле, я понимаю, что по-настоящему вступаю в «романную фазу». Любопытно, что вне этой фазы мне никогда не приходит в голову сочинить какое-нибудь стихотворение. Жажда расставить слова в ритмическом порядке, да еще и скрепить этот порядок рифмами, возникает только в прозаическом процессе. В каком-то смысле это напоминает подзарядку творческих аккумуляторов, а то обстоятельство, что это часто происходит во время бега, только подкрепляет метафору. Где-то я читал, что бег трусцой способствует выработке в организме неких деятельных веществ, именуемых «кинины». Ну что ж, кинины, давайте искать рифму на слово «тамариск».

И вновь – аллеи тамариска,
Бискайский мир, мильон примет!
Хожу, таскаю том Бориса
И как предмет секу предмет.

Гремящий мир гульбы и риска
Все жаждет склоны простирнуть,
Где над уродством тамариска
Цветет зеленый пастернак

Иль там укроп. Деталь кубизма,
Пересечение плоскостей,
А волны прут, самоубийцы,
Акрилом пачкая пастель.

Вглядитесь в дупла тamarиска,
В уродства ссохшейся коры,
Увидите черты арийца
И черные рога коров.

II. Непохожий на Ахилла

Вечерами я часто гулял по городу, стараясь не особенно удаляться от берега. Сидя тут в одиночестве неделю за неделей, можно было бы заскучать, если бы не нарастание «романной фазы» да присутствие неизмеримого в своем могуществе соседа, что постоянно гремит в шестистах метрах от твоего сада, словно бесконечный товарный состав. В ожидании заката я заходил в прибрежные бары и выпивал то кружку бельгийского пива «Лефф», то стакан баскского терпкого вина. Солнце, накалив горизонт, садилось прямо в море. Закат распускал гигантский павлиний хвост. При поворотах хвоста над ним возникали чистейшие звезды. Настроение улучшалось. Оно (настроение) подмигивало этим чистейшим звездам юности.

«Мигель, – обращался я к бармену, – налей-ка мне еще одну кружку „Левого“. Он тут же с улыбкой подавал то, что просят, как будто знал, что такое „ЛЕФ, Левый Фронт в Искусстве“. Я начинал снова бубнить что-то ритмическое.

Он стар, но молодо пьянеет.
Вокруг восторг и похабель,
А на отрогах Пиренеев
Вновь вырастает Коктебель.

Попробуй скрыться от изъяна
Туда, где книга, как стена.
Увидишь: Лунина Татьяна
В романе том плечом титана
От грешных дел защищена.

В кармане пиджака звучит бравурная гамма мобильного. Это, конечно, она, Танька Лунина.

«Ну что, чем ты там занимаешься?» – спрашивает она.

Этот женский голос с хрипотцой; даже без звука «р» в нем слышится легкое грассирование.

«Как обычно, – отвечаю я. – А что у тебя?»

Грубоватый смешок: «Стуцается лажа. Клемент гррозит рразогнать прродюссерскую группу. Жоррж и Кэт ррычат, что ты там, в сценаррии своем, рраскатился не на десять лимонов, а на все двадцать. Агррипина вдрребезги погррызла в кастинге, брродит по Тверрской, выискивает пррституток на рроли кррымской арристокрратии».

От этого неистовства звука «р» у меня начинает кружиться голова. «Татьяна, побойся бога, как это можно „погрязнуть вдребезги“?» Она замолкает и молчит, чтобы я что-нибудь еще сказал, но я молчу, как бы настаивая на ответе.

«Ну что это за дуррацкие прридиррки?» – тихо произносит она, и от этой еле слышной хрипотцы у меня перехватывает дыхание.

«А чего они тебя-то во все эти дела посвящают?» – строго спрашиваю я.

«А почему же меня-то не посвящать? – очень остро возмущается она. – Ты считаешь, что перрсонаж не может быть в куррсе перредрряг?!»

Снова молчание. Она хочет приехать сюда, понимаю я. Жаждет встречи с автором. Боится выдохнуться.

«Ну а как там вокруг-то все развивается? – спрашиваю я. – Как там твои мужики-то? Собственнические-то инстинкты не очень сильно проявляются?»

Она хохочет. Вот что мне всегда в ней нравится – эти вспышки хохота с бабской лукавизной, если есть такое слово в русском языке.

«Да так, как-то более-менее все по-человечески. Ну, правда, иной раз то Луч, то Суп хватаются за бутылку как за аргумент в споре, но это не так, как в книге, ты же знаешь, в кино это всегда вроде бы понаррошке. Ну что ты опять заглох? Послушай, Окселотл, ты не возражаешь, если я к тебе приеду? Ну что в этом странного? В конце концов ты сам мне исхлопотал шенгенскую визу».

Я все еще молчал, не решаясь высказаться на эту щекотливую тему. Пригласить ее сюда означало бы утвердить во всех правах, а стало быть, отодвинуть тамарисковые бредни.

Словно догадываясь о моих сомнениях, она вполне в реалистическом тоне сообщила новость:

«Да, я совсем забыла. Эти гады в конце концов подписали со мной договорр. Клемент даже изрек весьма пафосную фразу: согласитесь, мол, господа, ведь мы все равно не найдем лучшую Таню Лунину. Представляешь?»

«Да-да, представляю и поздравляю тебя от всей души, – сказал я. – Однако дай мне неделю, мне нужно вкатиться в роман».

«В какой-то новый, что ли?» – резко спросила она и, получив в ответ нечленораздельное мычание, отключилась.

Несколько раз я вызывал ее вернуться к разговору, но всякий раз слышал великолепный, без всякой хрипотцы и грассированья, голос: «Абонент находится вне зоны досягаемости».

Какое-то странное ощущение возникло у меня после этого пьяноватого разговора с Луниной. Как будто я ей вполне под стать по возрасту, ну, если ей слегка за тридцать, то мне – слегка за сорок. Помнится, выдул еще одну штуку «Левого фронта», бодро так соскочил с табуретки и вышел из бара как раз таким шагом, как будто мне слегка за сорок и я вот сейчас только что так неплохо, двусмысленно поговорил с классным кадром, которой слегка за тридцать. Я переходил через вечернюю улицу и отражался так неплохо в витрине, иллюзия не прерывалась, то есть не была и иллюзией, пока я окончательно к этой витрине не приблизился и не увидел свое морщинистое, с набухшими подглазьями лицо.

Я тогда подумал, что, может быть, иллюзия эта возникла из глубин «кинопроекта»; вот именно это и является причиной соединения каких-нибудь «редкоземельных металлов» с бесчисленными формами белка. Здесь ты иной раз можешь оказаться в центре вроде бы эфемерных, но в то же время, может быть, и реальных событий. Не рекомендую чрезмерно заикливаться на созерцании штормового океана.

Вот однажды в густых уже сумерках я стоял на набережной маленькой площади, которая называется Порт-Вьё, то есть Старый Порт. Высоченные волны стена за стеной неистово рвались к берегу, как будто тут их ждала какая-то вожденная добыча. Внимание мое привлечено было, однако, не столько этими возникающими при приближении к берегу штормовыми цепями с летящей над ними водяной пылью, сколько небольшой скалой в отдалении, на глубине. Над этой скалой с определенными интервалами возникало огромное, но отдельное бело-мохнатое чудовище, свирепая самка пространства. Казалось, ничем уже не удержат гипертрофированной хищницы, однако, просуществовав несколько секунд, она исчезала, чтобы снова возникнуть через пару минут. Я не мог оторвать взгляда от этого клочка стихии, мне казалось, что за моей спиной уже нет ни уютной площади, ни карусели, ни нескольких кафе, нет ничего, только бунтующая вода. Я подумал вдруг, что этого мне уже никогда не изжить, что так всегда эта тварь, во сне или наяву, будет нестись на наш берег, исчезать и вновь появляться. Пришлось сделать усилие, чтобы повернуться в сторону сто-

ящей среди волн Девы-на-скале, городскому монументу в честь погибших моряков. Спаси нас, Пречистая Дева, от бешеных созданий!

В конце концов я пришел к заключению, что сдвиги действительности начинают происходить передо мной как раз в те моменты жизни, когда я погружаюсь в свою пресловутую «романную фазу». Грани «магического кристалла» то затуманиваются, то открывают отчетливые панорамы, то крупным планом втягивают сочинителя в некую виртуальную среду, смесь памяти и воображения.

Однажды я зашел поужинать в кафе «Абри а Кот», то есть «Береговой приют». Проблема горячей пищи постоянно маячила передо мной в моей одинокой жизни. Еще с юных лет я усвоил бытовую мудрость: хотя бы раз в день надо есть что-нибудь горячее. Чаще всего эта проблема решалась при помощи замороженных порций пищи в картонных коробках: кус-кус по-мароккански, паэлья с куриным мясом, китайские роллы со смесью крабов и креветок – в этом духе. Кулинарными способностями я никогда не отличался, поэтому из всего кухонного оборудования наибольшей симпатией у меня пользовалась микроволновая плита. Изредка, впрочем, неизвестно по какой причине начинал сам что-нибудь готовить попроще. Нагревал сковородку, шлепал на нее свежее филе палтуса, через десять минут ужин был готов. Однажды, взъярившись, я решил доказать самому себе, что и во мне может проявиться кулинар: почему бы и нет, если я способен затеять кухню романа? В результате возник рецепт, который я сейчас предлагаю читателю под названием «Изыски Окселотла». Что касается ингредиентов, то их можно за пять минут набрать в любом супермаркете мира в «шаговой дистанции», ну если только судьба вас не закинула в Пхеньян.

Итак, разогреваете большую сковородку, кладете на нее без всякой предварительной разморозки кирпичик коктейля из морепродуктов: мидии, кальмары, крошечные октопусы. Пусть сами размораживаются на горячей сковородке. Тем временем начинаете варить полпакетика итальянских макарон «рикони». Замечаете, что сковорода булькает вовсю в пузырях тающего льда. Самое время влить в это бульканье умеренную дозу оливкового масла. У вас теперь есть время крупно порезать на доске красный и золотой перец, сельдерей и немного помидоров. Готовы макароны! Отбрасываете их на друшлаг, или как там его – дуршлаг? Теперь все внимание на сковородку: морские гады, отморожившись друг от друга, весело поджариваются в масле. Посыпаете их всякими там специями: черный перец, карри, лесная смесь – в общем, тем, что находите в кухонном шкафу. Сложнейшие ароматы вселяют надежду: авось, что-нибудь получится. Гады приобретают золотистый оттенок. Высыпаете вареные макароны на ваше жарено. Смешиваете эти два главных ингредиента и начинаете их перемешивать чем-то длинным и плоским – не знаю, как называется. Теперь и макароны приобретают золотистый оттенок. Сверху кладете на эту смесь нарезанные овощи и на пять минут прикрываете сковородку кастрюльной крышкой. Блюдо готово: гадские макароны с припущенными овощами. Наливайте стакан бордоского вина «Марго» и приступайте к трапезе. Сразу почувствуете, что о вас позаботилась любящая рука.

Когда от этих кулинарных потуг становилось невмозможу, я все-таки отправлялся в ресторан, чаще всего в «Абри а Кот». Заказывал там все, что полагается: дыню с ветчиной на закуску, отменную канар-конфи, то есть что-то утиное, с гарниром «рататуй», чай с заменителем сахара; в общем, вот такие дары природы. Хозяин заведения меня уже приметил, всякий раз подходит, спрашивает, откуда я. Я всякий раз отвечаю по-разному: то из Америки, то из России, то еще что-нибудь. Он всякий раз уважительно округляет глаза, а на слово «Белоруссия» даже поднимает палец и произносит: «О-ля-ля, президан ЛокошкО!»

В кафе всякий раз сидит не больше пары парочек, иной раз даже приходится ужинать соло. Как он умудряется не прогореть, этот месье Абрикос? Но вот однажды я туда зашел под вечер и чуть не оглох от криков. Толпа разнокалиберных мужиков и несколько кругленьких

женщин окружали стойку бара, передавали друг другу от бармена бокалы с пивом и не прерывали беседы, то есть старались друг друга переорать.

Столиков никто из этой компании не занимал, и потому я без особого труда нашел себе место. Хозяин почти сразу приблизился и не без горделивости указал мне маленькой ручкой на собравшихся: как, мол, вам нравится такое нашествие?

Я покивал: впечатляет, впечатляет. А что это за народ?

Это наши армяне, пояснил он. Арманьянцы. Собираются у меня каждые три месяца. Или чаще. В общем, не реже двух раз в месяц. Вот видишь, Белый Рус, а ты все еще удивляешься, на что я живу и почему не прогораю. Ты меня дразнишь Абрикосом. А вот теперь можешь видеть своими глазами, какой доход ко мне идет от армян! Он все задирает и задирает слегка замасленный подбородочек, все больше и больше гордился. Наконец, прихлопнул ладошкой по столу и удалился, забыв принять заказ. Я был, признаться, поражен: откуда он узнал, что я назвал его Абрикосом? Ведь я ни разу не произносил это прозвище вслух. И уж тем более ни с кем не делился мыслями о шаткости его финансовой ситуации. И уж тем более: каким образом я все это понял с моим французским?

Я отвлекся от этих мыслей, когда обратил внимание на главенствующую фигуру в этой толпе армян. Гигантский молодой атлет в шортах и в майке без рукавов стоял боком ко мне. В левой руке он держал годовалого младенца. Крошечные ножки мирно свисали со сгиба его руки. Что касается правой руки, то она находилась в постоянном движении: курила сигарету, пила пиво, резкими жестами главенствовала в общем споре. Вдруг меня поразила мысль, что этот гигант является не кем иным, как Сережей Довлатовым в расцвете его лет. Собственно говоря, я никогда не видел покойного в ту пору его жизни, но меня поразило сходство габаритов – ног, рук, плеч, центурионского подбородка, римского носа и благородных ушей; без сомнения, это был Сергей.

С набережной вбежала довольно растрепанная женщина, жена Сережи и мать младенца. Последний был резким движением изъят из левой руки молодого отца. Тот, чуть не задохнувшись от неожиданности, приблизился к стене, приткнулся к ней на манер атланта. Женщина что-то резкое ему в лицо бросала. Он закрывался левой освободившейся рукой. Армянская толпа вся пришла во взволнованное движение. Все к кому-то апеллировали, словно нуждались в окончательном мнении. Главенствующим тут оказался вовсе не Сережа, вернее, не тот Сережа. Раздвинув монгольферские животы, вперед вышел «возрастной» коренастый человек в фуражечке-капитанке и в майке с широкими поперечными полосами; глаза его грозно и вдохновенно мерцали. Признаться, я ни разу не встречал покойного. Однако не мог не узнать немедленно в нем Сергея Параджанова.

Он поднял руки, как бы усмиряя море. Оно немедленно затихло, но не замолчало. Еще долго в нем слышались щелканье, клекот, скат камней, вся эта дивная фонетика великолепного французского арманьяка. Потом все присутствующие отошли от стойки и расселись вокруг столов.

Месье Абрикос вынес мне мой ужин в судках, присовокупил к ним бутылку вина и любезно показал на дверь.

С этими судками я медленно ехал по набережной в своем «Кангу», когда вдруг увидел на площади Сент-Эжени не кого иного, как Ника Оризона; он сидел на ступеньках «газету», то есть павильона, предназначенного для летнего препровождения времени или для выступлений артистов. Почему-то эта встреча показалась мне столь же удивительной, сколь явление двух армянских Сергеев в «Береговом приюте», хотя юнец не напоминал никого из покойных мастеров искусства. Я остановил машину и с минуту смотрел на Ника. Он был обут в те же самые мягкие туфли, и у его ног, разумеется, лежал его удивительный сёрфборд. Облачен Ник был по-прежнему в синий свитерок и гавайские шорты, как будто другая одежда была

ему неведома. Густой пирог его волос слегка волновался под бризом. Вдруг он посмотрел прямо на меня и помахал рукой. Неужели узнал? Я помахал в ответ. Он подхватил свою доску и пошел к машине. Сиял чудесной детской улыбкой. Публика с каким-то странным изумлением смотрела ему вслед.

«Очень рад вас снова увидеть, сэр! – подойдя, воскликнул он. – Вы меня еще тогда, в компании Лярокка, заинтересовали до чрезвычайности. Мне показалось, что в вас есть что-то такое писательское. Очень хотелось поговорить, да вот заигрался тогда с Гругрутюа и Дидье, а вы, ррраз, и исчезли, сэр. Ловко так слиняли с места действия».

«Я тоже рад вас видеть, Ник, – сказал я. – Раз уж так все складывается, с удовольствием с вами побеседую. Просто так, без всяких околичностей. Ведь вы же как-никак представитель самой новой волны, не так ли?»

«Сдается, сэр, что вы сейчас движетесь к южным рубежам. Я не ошибаюсь? Вы не могли бы меня подбросить до пляжа Бидар?»

Конечно, я не отказал ему, тем более что названное место находилось в пяти минутах езды от моего гнезда. Он ловко пристроил свою доску в машине. Поставленная на ребро, она теперь своей носовой частью находилась у него под мышкой, а хвостом в кормовом отсеке моего многоцелевого вуатюра. Странная, престраннейшая штука эта Никова спутница жизни; мне все время казалось, что она прислушивается к нашему разговору и вот-вот начнет повизгивать от удовольствия.

«Значит, путешествуете, мой друг, по всему миру?» – спросил я его для начала и тут же спросил сам себя: какого еще начала?

Он горделиво заскромничал. «Ну не по всему миру, сэр, но все-таки за два месяца побывал в Оаху, в Мельбурне, в Дурбане, в Бразилии и вот теперь – Биарриц, сэр».

«Ну и где лучше всего, то есть где сёрф-то самый устойчивый?» – спросил я и тут же опять спросил себя: да тебе-то какое дело, где он самый устойчивый?

Он тут же ответил с колоссальным энтузиазмом: «Чудо из чудес, сэр, это устье Амазонки! Речной поток там сливается с океанским прибоем, и образуется колоссальная волна, которая неторопливо и цельно идет в сторону океана. Мы на ней с моим другом, индейским мальчиком по кличке Наган, шли больше получаса и даже временами менялись досками на ходу! Вот это был соол!»

«Простите, Ник, за возможную бестактность, но разрешите спросить: как это вы разъезжаете по миру во время учебного года? Ведь вы, наверное, пока что не выше чем в седьмом классе, не так ли?» Я посмотрел на него сбоку не без ехидства и тут же себя одернул: что это я устраиваю пацану какой-то инспекторский допрос?

Он хлопнул в ладоши, еще более усугубляя суть моего вопроса. «Ноу, нот эт олл, сэр, я никогда не нарушал школьной дисциплины! Просто я умудрился, сам не знаю, каким образом, продемонстрировать такие познания, что преподавательский совет школы, а вместе с ним колледжа Корнуэлл раньше времени присудили мне степень бакалавра. Таким образом у меня освободилось время для отдыха перед поступлением в университет».

Впереди зажегся красный огонь светофора, и я смог на несколько секунд повернуться к Нику, чтобы внимательно еще раз рассмотреть его внешность. Детская искренность в сочетании с юношеской серьезностью напомнили мне что-то из далекого прошлого. «Ваши родители, Ник, должны быть людьми широкого кругозора и либеральных убеждений, если они одобрили ваше одиночное путешествие. Я прав?»

Теперь уже он посмотрел на меня с исключительным вниманием, если не с какой-то неожиданной настороженностью. «Да-да, вы угадали, сэр, мои родители как раз люди такого склада, как вы сказали».

«Должно быть, они к тому же еще и весьма состоятельны, если могут позволить себе оплату ваших странствий. Я не ошибся?»

Он присвистнул с еле уловимым оттенком насмешливости. «Вообще-то вы не ошиблись, сэр, мы не бедняки, но в данном случае путешествие оплачивается британской ассоциацией сёрфинга, точнее, ее филиалом, именуемым The World Group Protecting of the Young who Run over the Waters. Вот здесь направо, пожалуйста».

Мы свернули с шоссе на узкую дорогу, ведущую к огромному летнему кемпингу. Сейчас он был еще пуст, и через открытые окна машины можно было слышать гул ливанских кедров, окаймляющих это бискайское пристанище. Ник показывал направление: «Вот здесь налево, сэр. Теперь направо, сэр. Теперь прямо, сэр. Стоп, сэр». Мы остановились на вершине холма, с которого был виден пляж Бидар и дальше необозримый Резервуар. Здесь среди дюн ютилось несколько сарайчиков, похожих на московские «самопальные» гаражи. «Тут у меня с прошлого года стоит мотоскутер, сэр», – с улыбкой пояснил Ник. Он щелкнул пультом дистанционного управления. Одна из жалких хибар открылась, явив вполне годный к употреблению гараж, в середине которого стоял миловидный двухколесник, сродни тем, на которых в этих краях кружат по городу школьники старших классов. Не знаю, что случилось, – а что может случиться, когда ничего не случается? – но я испытал какое-то неясное, но острое беспокойство.

«Надеюсь, Ник, вы не собираетесь оседлать это миниатюрное транспортное средство?» – осторожно спросил я.

Лицо мальчика на мгновение окаменело, в нем промелькнуло что-то похожее на физиономию какого-нибудь спецназовца из бесконечных нынешних сериалов. Впрочем, окаменело и промелькнуло, и в следующую секунду передо мной был все тот же тринадцатилетний мальчик. Он рассмеялся.

«А почему бы нет, сэр? В прошлом году я гонял тут на нем все лето».

«Предполагаю, Ник, что вы основательно подросли за этот год. Боюсь, что вы будете выглядеть довольно нелепо на этом миниатюре. Что-то вроде Ахилла верхом на крошечном ослике. Народ просто обхохочется при этом зрелище».

«Ну и пусть хохочут, – пробормотал он. – Подумаешь, большое дело. Этот байк в отличном состоянии, он легко потянет даже боксера Кличко, не то что подростка-сёрфера, простите, сэр, совсем непохожего на Ахилла».

Мне показалось, что он тоже испытал вдруг какую-то мгновенную и очень резкую тревогу. Или он просто был уязвлен моей добродушной насмешкой. Так или иначе он переборол неприятное чувство и сделал шаг к гаражу. Я успел схватить его за локоть.

«Вы, собственно говоря, куда собираетесь мотануть на этом ослике, или, вернее, на этом странном жуке?»

«В Гитари, сэр. Там мой друг Вальехо Наган ждет меня к ужину с компанией таких, как мы, ребят».

«То есть „тружеников моря“?»

Он расхохотался: «Неплохо сказано, сэр! Это вы сами придумали?» Он как-то неловко топтался, очевидно не зная, как непринужденно, по-светски, попрощаться со странноватым «сэром». Мне вдруг пришла идея устроить спонтанный пикник над пляжем Бидар. Ведь у меня в машине судки с полным комплектом ужина от месье Абрикоса! Да и бутылка отменного «Марго» в придачу! Слегка, а может быть, и основательно фальшивя, я небрежно предложил мальчику разделить со мной мой ужин. Ну чего вам тащиться в час пик до этого порядком отдаленного Гитари, вызывать ехидные насмешки раздраженных водителей? Уверен, что у меня тут достаточно продуктов для двух джентльменов, чтобы заморить червяка. Да-да, Ник, нечего подкалывать старика, я действительно редко выезжаю из дома без запаса съестного.

Открыв судки, я с удивлением обнаружил, что Абрикос снабдил меня ужином для двух персон: две порции шотландской лосося на закуску, два больших панированных антре-

кота с двойным гарниром из рататуя, два слоеных пирожных на десерт. Интересно, что к этому прилагались два комплекта столовых принадлежностей, включая два стакана для вина, ну и, разумеется, две накрахмаленных салфетки. Желал ли Абрикос слегка подмазать своему постоянному одинокому клиенту, извиниться за армянский кавардак в ресторане или – тут некоторый ознобец прогулялся у меня по спине, – или он пожелал хотя бы слегка двинуть вперед сюжет? Уж не начинает ли наша округа с ее обитателями подыгрывать новому «романному настроению»?

Мы разложили припасы на плоском камне и уселись на песок друг против друга, словно за кофейным столиком. Я поднял бокал и пожелал юнцу «дальнейших успехов». Он на секунду задумался, а потом осторожно предположил, что его успехи, кажется, будут связаны с моими «дальнейшими успехами». Странная мысль, не правда ли, сэр?

«Послушай, Ник, какого черта ты меня все время называешь „сэр“? Старца Лярокка ты запросто называешь по имени, а ко мне обращаешься словно к директору школы».

Малый был явно голоден. Он активно уничтожил свою половину ужина, но тут вдруг остановился с открытым ртом.

«Прошу прощения, сэр, но я не знаю, как вас называть».

«Называй меня тоже запросто: либо Базз, либо Окселотл».

«Что это значит, сэр, я не могу понять».

«Это мое имя, Базз Окселотл».

«Я никогда ничего подобного не слышал, никогда даже не подозревал, что в Америке есть люди с такими именами».

«В Америке, может быть, и нет таких, но в России, в Рязанской губернии, вы можете встретить Окселотлов целыми выводками».

Тут Ник еще шире раскрыл рот. «Так вы, сэр, то есть Базз, то есть мистер Окселотл, стало быть, из России?»

«Неужели ты не уловил моего русского акцента?»

Он был явно смущен, немного даже покраснел, прятал глаза. «Признаться, Базз, я думал, что это у вас такой своеобразный американский говорок, ведь в Штатах множество разных говорков, слегка... ммм... обескураживающих нас... ммм... британцев».

«Но ведь ты, кажется, бывал в России, в частности, в Крыму, в собачьем питомнике на склонах Ай-Петри, не так ли?»

Он забормотал, как бы оправдываясь: «Это была очень короткая поездка в составе группы школьников под эгидой „Общества англиканских друзей Святого Франциска Ассизского“».

«Значит, ты не проникся там чем-нибудь специфически русским?»

При этом вопросе Ник вообще как-то поплыл, как-то неадекватно заерзал. Он даже прилег спиной на свою доску и ухватился за ее бока, словно набираясь силы. «Как вы могли, мистер Окселотл, так подумать? Мне кажется, что стоит только ступить на землю России, как сразу начинаешь проникаться ее спецификой. Эти друзья Сан-Франциско Д'Ассизи учили нас понимать животных. Вы, конечно, знаете, что в Крыму немало бродячих брошенных собачонок. Мне казалось, Базз, что я понимаю этих несчастных, во всяком случае, понимаю их основную мысль. Они как будто говорят своими взглядами снизу: „Простите меня, могущественные люди, за мое существование“. Я просто был готов разрыдаться под этими их взглядами. Это как-то связано с идеями Достоевского, вы не находите? Особенно с образом Коли Красоткина из „Братьев Карамазовых“. Как он страдал после того, как дал собачке кусочек сала с осколком бритвы, как он после этого преобразился! Вот так же все мы должны страдать при виде несчастных брошенных собак. Уж если мы взяли эту четвероногую расу на воспитание, как мы можем бросать их на произвол судьбы?!»

Признаться, я был просто потрясен этим страстным монологом юного англичанина. «Ты считаешь, что мы взяли собак на воспитание, мой друг?»

«Для чего же еще?!» – воскликнул он, потрясая обоими своими кулаками.

«Ах, Ник, ах ты мой Коля Красоткин! Какой же ты хороший мальчик!»

Мы оба замолчали, смущенные излишними своими чувств. Ужин был завершен в молчании. Между тем солнце вступило в свою предзакатную фазу. Гигантское медное, с прозеленью, блюдо неба отражалось в грандиозном океанском отливе. Пляж расширился в три раза, а скалы, знаменитые скалы Биаррица, прибавили на одну треть в высоте, уподобившись то ли кускам крепостных стен, то ли сторожевым башням.

«Послушайте, Базз, когда возникали эти скалы, на Земле не было никаких крепостей, – сказал Ник, будто прочел у меня на лбу это промежуточное описание отлива. – И никаких башен, конечно. Не было никого, кто мог бы их с чем-нибудь сравнить. По сути дела, никто не мог даже понять, какого они размера, потому что не было никакой меры. Тем более что не было никого на этом берегу, когда на горизонте начала вздыматься земная кора. Никого, кроме меня».

Я содрогнулся. Последняя фраза юнца как будто приоткрыла для меня какую-то новую, совсем еще неведомую сферу романа. Все-таки я собрался с силами и спросил его с достаточной осторожностью: «Кроме тебя, мой друг? Ты думаешь, что ты был здесь, именно на этом берегу, когда на горизонте стала вздыматься земная кора?»

С минуту он молчал, глядя на неподвижный ныне, пролившийся медным соком горизонт, потом произнес печально: «Я не думаю этого, но просто вспоминаю: сижу вот именно на той скале, на которой мы сидим сейчас, и гляжу вон на ту скалу, которую сейчас могу сравнить с пьющим динозавром. Не понимаю, кто я, и в голову даже не приходит, что такое время, размер, вес, меры длины, высоты, ширины. Слышу только нарастающий грохот, он забивает мне уши, и наконец вижу, как на горизонте начинают появляться камни, фронт камней. Они сталкиваются друг с другом, налезает друг на друга, и грохот становится невыносимым...»

Тут он вскочил, протянул руку и с криком «Это они!» ткнул пальцем в южном направлении, как раз в сторону приморского городка Гитари, родины композитора Мориса Равеля. Никаких камней не было видно, просто оттуда по пляжу и по мелководьям отлива двигалась к нам какая-то внушительная мотораскоряка, что-то вроде военного внедорожника «Хамви»; лучи повисшего как будто навсегда, а на самом деле ежеминутно снижающегося солнца то и дело зажигали его ветровое стекло.

Ник Оризон прыгнул с обрывистой дюны и понесся по отливу навстречу приближающемуся кабриолету, заполненному пацанами и гёрлами. Никакого «Болеро», урезонивал я себя, никакого кино! Он махал руками и что-то кричал. Звук улетал в сторону машины. Наконец они его заметили и все встали, приветствуя несущегося огромными древнегреческими скачками друга. На антенну машины было привязано несколько цветных тряпок, они трепетали от бриза и от восторга.

Вдруг я увидел на плече оставленный Ником пульт дистанционного управления. Я схватил его: вот так удача! Надо немедленно пресечь жажду юнца оседлать его зловещего мотоосла! Не знаю: почувствовал ли Ник, что я опасаясь за его жизнь? Внешне эта его каталка выглядит не более угрожающей, чем комнатный пылесос, – если не считать торчащие в сторону зеркала заднего вида, придающие ему сходство с глубоководным скатом, – однако и пылесосы ведь могут быть чреватые коротким замыканием! К тому же, кто знает, проклятая штука, будучи заведена, может материализовать какую-нибудь шаровую молнию; ведь это не секрет, что отдельные сегменты атмосферы буквально нашпигованы невидимыми шаровыми молниями. Ну и наконец простейший вариант: в гараже может поджидать этого пока не очень-то прозрачного героя вполне обычное для первого десятилетия XXI века

устройство, именуемое растяжкой. Несколько секунд я сидел не двигаясь, глядя, как из-под халупы начинают выползать какие-то жужелицы. Ну вот, какая-то лярва под гаражом начинает плодоносить. Тут я попытался себя обуздать: в конце концов за кого ты больше боишься, за великолепного сёрфера Ника Оризона или за свой роман? Вычеркиваем жужелиц, никому они тут не нужны. Берем пульт дистанционного управления, или на русско-американском языке «римутку», и наглухо закрываем двери гаража. Римутку, размахнувшись, зашвыриваем в глухую, перевитую лианами тамарисковую рошу.

Я собрал судки, плед, недопитую бутылку вина, направился было к своей машине и вдруг остановился со всем этим добром в руках. Кончик оризоновского сёрфборда мигал мне непостижимо маленьким маячком; он подавал мне сигналы!

Чуть ли не бегом я устремился к «Кангу», свалил в багажник все барахло, вернулся к доске и сел рядом с ней на песок. Что делать дальше? Маячок продолжал мигать, но уже в явно ускоренном режиме. Значит, мне надо к нему максимально приблизиться, так я понимаю, Мистер Сёрфборд, госпожа Доска? Я положил обе ладони на нос плавсредства, и тут прямо под ладонями у меня раздвинулась шкура доски и открылся маленький экранчик сродни окошку в сотовом телефоне. Там бегала ленточка букв, она гласила: «Если вы хотите оставить сообщение для Ника Оризона, постучите указательным пальцем прямо подо мной». Я сделал то, что было предложено, и тут же открылся киборд. Не знаю уж, чему я подчинился: воображению, интуиции или какой-нибудь реальной угрозе, но я написал: «Ник, если тебе днем или ночью понадобится движок, можешь взять мой „Кангу“». Он стоит напротив дома № 6 по улице Жан-Жак О’Дессю. Ключи лежат под половичком пассажирского места. Днем звони мне на мобильный 06 66 77 88 99. Базз Окселотл». После этого я сделал quit, коммуникация закрылась, и мыслящая машина превратилась в обычную плавдоску.

Между тем кабриолет «Хамви» подъехал и остановился совсем близко от нашего холма. Мальчишки и девчонки побежали к низкому отливному сёрфу. Среди них я заметил и юную красотку Дельфину Лакост. Не отставая от пацанов, она носилась по мелководью и хохотала вполне в духе всей компании. У ног ее самым активным образом мельтешил отпрыск старика Лярокка, ее маленький племянник Дидье. Он все норовил ухватить за руки как Дельфину, так и нового друга Ника Оризона, то есть образовать некий мостик между двумя великолепными организмами. Вскоре это ему удалось, и троица помчалась к полосе прибоа.

В стоящей машине осталось между тем только двое: первым бросался в глаза пиренейский великан Гругрутюа, который, пользуясь отсутствием орущих юнцов, растянулся во всю длину на заднем сиденье, кажется, дремал, лишь изредка пытаясь схватить зубами каких-то докучливых насекомых, вторым был человек за рулем, весь как будто намазанный темно-желтой мазью, с гладко зачесанными за уши черными волосами и с бесстрастным или, может быть, застойно-страстным лицом. Он, очевидно, был не очень-то длинноног, о чем можно было судить по максимальному приближению его кресла к рулю. Что касается рук, то они поражали своими размерами и мощностью мускулатуры. Вот это, очевидно, и есть наш друг из устья Амазонки, не кто иной, как сеньор Наган. Нет-нет, мы не откажемся от этого персонажа, пусть сыграет свою роль, елки-палки, да он уже вступает в свою роль в том смысле, что не отрывает яростного взгляда от Дельфины Лакост.

Пытаюсь обуздать преждевременно разворачивающуюся сюжетную линию, беру все и всех в скобки, поворачиваюсь спиной к Резервуару, влезаю в свой «Кангу» и отчаливаю по направлению к приморскому шоссе и далее – к дому.

Лучи солнца еще освещали верхушку моего главного дерева, большой и симметрично закругленной магнолии на фасадной лужайке, и потому я без труда увидел в ее ветвях двух докучливых сорок. Минуту или две я смотрел на магнолию и вспоминал историю наших

взаимоотношений. Устроив здесь себе сочинительское гнездо, откуда открывается вид сразу на две страны, Францию и Испанию, не говоря уже о том, что все это пространство именуется Басконией, я стал обитателем ботанического склона наряду со слоняющимися там соседскими кошками, пробегающими мимо собаками, воркующими голубями и шустрými сороками. Таким образом я вступил в какие-то особые, не вполне понятные, но ободряющие отношения и с дубом, и с кедром, и с олеандром в глубине сада, тем более с горделивой фасадной магнолей. Сомневаюсь, что они знают, как я их называю, иначе я бы знал, как они называют меня, не так ли?

Летом 2003 года в Европе стояла патологическая жара. Воздух был неподвижен до такой степени, что каждое утро окружающая природа казалась мне не живой картиной, а фотографическим снимком. После долгого отсутствия я вернулся в Биарриц и увидел, что магнолия пребывает в плачевном состоянии: листья пожелтели и скукожились, иные ветви полностью облысели. Зашел садовник, печально покачал головой: дело плохо. Нет уж, подумал я, надо все-таки побороться за эту особь. Подтащил шланг и несколько часов с короткими интервалами поливал дерево мощными струями воды от макушки до ствола. На ночь оставил струящийся шланг у подножия. Утром я увидел, как дерево может ответить на такую массируемую заботу. Среди оживших ветвей горделиво покачивалось не менее семи распутившихся белых чаш. Магнолия как бы говорила: спасибо вам, сеньор приезжий, за вашу аш-два-о с аминокислотами и песчинками редкоземельных элементов. Я тогда раскланялся: это вам спасибо, мадам Магнолия, за ваши чаши.

Не успел я до конца припомнить свою борьбу за магнолию, то есть не прошло и секунды, как сороки с шумным шухером вылетели из ее ветвей и почти вертикально взмыли в закатное небо. В последний миг перед тем, как они исчезли, я заметил в клювах у двух из этих мерзавок мои солнечные очки. А я-то столько времени искал их по всему дому!

Эти очки я купил пару лет назад за 150 американских долларов в одном из бутиков вашингтонского даунтауна. Редкая модель, так называемые goggles, они закрывали не только глаза, но и боковые поверхности кожи вокруг глаз. Массивная оправа напоминала то, что когда-то, ну, скажем, в сороковые годы, называлось «роговыми очками». Во Франции хрен найдешь такую штуку. Иногда мне казалось, что французы, особенно люди пожилого возраста, по этим очкам узнают во мне американца. Нынче по всему миру распространилось мнение, что французы недолюбливают американцев. Мне кажется, что это лажа. Из всех цивилизованных наций только французы сохранили какую-то особую тягу к янки, и больше всего к тем полумифическим, спрыгнувшим с неба, янки сороковых годов. Стоит только где-нибудь на площади в курортный сезон зазвучать свингу, как французы выскакивают из своих кафе и начинают по всем правилам, со всей нужной хореографией отчебучивать эти лихие танцы, как это происходило в 1944 году, в дни освобождения Парижа.

А возьмите тот же сёрфинг: ведь это именно американцы тех лет внедрили нелегкую забаву на французских пляжах. Ну, и разумеется, уж если они увидят кого-нибудь в очках-лупоглазах, тут же вообразят каких-нибудь американцев в кокпите «летающей крепости», идущей на нацистскую цель. Короче говоря, мне нравилось ходить в этих очках, и вдруг они пропали.

День за днем я ходил по своим комнатам и искал очки. Проклятые вещи – то и дело пропадают. Сколько раз я убеждался в том, что нельзя их искать и без толку тратить на поиски уйму времени. Когда захотят, тогда и выскочат на поверхность, сделав вид, что они тут всегда лежали.

Вещи – такие сволочи,
Прячутся по квартире,
Скалятся, гады, по-волчьи

Над хозяином с его артритом.

Исчезают щетки для волос, беговые туфли, диски, на которые грузишь свои «бэкапы», пульты для телевизора и для плееров, летом шорты, зимой шерстяные штаны, визитные карточки нужных персон, книжка «Речевые формулы французского языка», баскетбольный мяч, черт знает что еще, солнечные очки-лупоглазы...

Затаилась где-то отвертка,
Мобильник, блин, будто врос в кирпич,
А ведь лежал под пропавшей журнальной версткой;
Звонят как будто бы из Керчи.

Ходишь полдня по своим небольшим комнатам, взъеряешься от тщеты. Дом взъеряется на тебя, за спиной у тебя – а иногда и прямо перед носом – стучат, хлопают все двадцать три двери: кто, кто построил этот дом с таким количеством дверей, неужели тихонькая мадам Лафон, у которой этот дом и был куплен, неужели она сама была сторонницей сквозняков как окончательных аргументов в спорах с муженьком, когда по дому одна за другой с яростью захлопываются все двадцать три двери?

Иногда мне кажется, что дом злится не столько на меня, сколько на попрятавшиеся вещи. Перетряхивая стены и двери, дом как бы подключается к поискам. Трахтарарах, из двух кухонных дверей вылетают ручки, сами по себе куда-то к эвонноэвве закатываются, сотрясается холодильник, ты бросаешься к нему, чтобы проверить, не разбилась ли крынка с молоком, – нет, ничего не разбилось, больше того, в прохладной полости тебя поджидает приятный сюрприз: в пространстве между упаковкой «Стеллы Артуа» и коробкой сардин внезапно обнаруживается то, что давно уже бросил искать, ну тот самый, что изредка подавал какие-то слабенькие сигнальчики как будто бы из Керчи, ну, в общем, мобильный блядский телефон. Какой приходит тут восторг, как преображается мир! Из провонявших всяким вздором абсурдностей вдруг выходит некий мир-друг, ободряет тебя хлопком по плечу: давай открывай баночку «Стеллы» и звони какой-нибудь совсем забытой, совсем состарившейся Стелле Артюхиной в Керчь, выходи на террасу, шлепайся в шезлонг, затевай долгую беседу с воспоминаниями. Керчь, Керчь, не началась ли там у вас война, мадам? По-прежнему ли хлопают в набережную ваш лишь капельку замусоренный прибор? Мадам Керчь, а вы по-прежнему вспоминаете о ваших жарких ночах, о грезах с примесью большевистской идеологии? Ах, как приятно найти потерявшийся телефон-портфель!

Иногда мне кажется, что мои предметы недвижимости противоборствуют предметам подвижности в их постоянных стремлениях спрятаться, разбрестись, причинить зло хозяину. Ну вот опять же, те же злокозненные очки-goggles: потеряны месяц назад, казалось бы, безвозвратно, однако ты их все же как-то подсознательно ищешь, бросаешь то туда, то сюда полубессознательные взглядики – а вдруг вот сейчас обнаружатся, сверкнут на солнце, пропищат на манер телефончика какой-нибудь знакомый мотивчик?

Магнолия не хочет, чтобы ты так без конца маялся. Ей дорого твое достоинство. Именно поэтому она заманивает в свои ветви двух сорок. Присаживайтесь, госпожи воровки, на мои великолепные ветви! Суетные щеголихи, разумеется, не отказываются от приглашения, и именно в этот момент магнолия приглашает появившегося хозяина заглянуть глубоко в ее щедрую макушку. Проходит еще один миг, и птицы с ворованным предметом хозяйского обихода, то есть с очками-лупоглазами, взмывают в поднебесье. Хотите верить, хотите нет, несут их вдвоем, каждая за свою дужку. Растворяются в океанском закате.

О, твари подлые, сороки!

О, клеptomаник уазо!
Пусть заклеят вас эти строки
Замысловатостью резьбы!

Спасибо, магнолия, теперь хотя бы можно исключить очки из круга спрятавшихся вещей. Наконец-то и я добрался до своего «Мака». Ни дня без строчки, – талдычу я себе, – кто отец этой зернистой идеи, Стендаль или Олеша? – ни дня без какой-нибудь, пусть хоть самой завалященькой строчки. Ни ночи без строчки – это мое. И записываю: «Таков и наш комсомол; выросший на корявых стволах идеологии, он все-таки умудрился взрастить на своей плешке шапочку благих побуждений». Да ведь где-то уже промелькнули эти «благие побуждения»... И засыпаю под умиротворяющий гул Резевуара. Во сне вопрошаю свой туманный замысел: «При чем тут комсомол? Какое отношение он и все эти его румяные лгуны имеют к моим предроманным блужданиям? Почему в компьютере появляются современные фигуры всяких там сёрферов, французов, загадочного юнца-англичанина, не похожего на Ахилла Ника Оризона, бразильского индейца Вальехо Нагана, почему в мыслях я все время возвращаюсь к „верному помощнику партии“, Ленинскому комсомолу, о котором сейчас никто не имеет ни малейшего понятия?»

III. Узник краснознаменного изолятора

Приснилось странное. Оказывается, в московской тюрьме «Фортеция» вот уже несколько месяцев томится некий господин сорока с чем-то лет, имеющий какое-то отношение к нашему роману. Имени его мы пока не знаем, а потому будем его называть просто Узником. Неведома нам пока и суть дела, по которому замели этого нестарого еще человека с жестковатыми чертами лица. Судя по тому, как он себя держит в узилище, а держит он себя довольно независимо и гордо, можно принять его за «узника совести», однако по тому, с каким почтением к нему относится стража, этого не скажешь. Может быть, какой-нибудь «авторитет» перед нами? Вряд ли: ботинки на босу ногу не носит, на фене не ботаёт, наглостью какой-либо стопроцентно не отличается, а самое главное – никакой российский пахан не полез бы в тамарисковый парк, ему тут нечего делать. Что же остается, ведь не допытываться же у тюремщиков, что за человеке.

Тюремщики, надо сказать, сами смотрят на Узника с недоумением: чего он так мается, чего чахнет, когда мог бы просто отдыхать под эгидой индивидуальной системы привилегий? Питание в камере получает по формату +3000 калорий. Два раза в неделю может даже полакомиться фирменной солянкой, которую готовит для «элитного контингента» Жан-Поль Блюдо из французских правонарушителей. Располагает также собственным холодильником, где держит свои минводы и гастрономические деликатесы из «Седьмого континента». В камеру к нему посажены три интеллигента, с которыми по вечерам можно расписать «пулю». В библиотеке раз в неделю может набрать себе книг лучших авторов: ну, скажем, Ольговеры Марьиноорощинской, Акуленины Ознобищиной, Оригиналы Спасотерлецкой. А самая главная привилегия состоит в том, что в утренние часы Узник может уединиться в салоне комсостава, официально как бы для ознакомления со своим делом, а нормально: чем хочешь, тем и дровичь – хоть пестуй новую схему для обмана народонаселения (какая еще схема, при чем тут народонаселение?), хоть эротически расслабляйся с соответствующей кассеткой. Нет, Узник упорно продолжает маяться. Иногда часами сидит без движения, уставившись в неустановленный угол мироздания, как будто видит там что-то еще, кроме толстого, как блин, слоя паутины. Иногда за целый день не произносит ни одного наукоемкого слова, одни только отговорки вроде «благодарю», «нет, не нужно», ну там чего-то более человеческого, вроде «идите на хер»; всё на «вы».

Так думал о своем Узнике комендант долгосрочного блока майор Блажной. Иногда, уловив брезгливую мину, он позволял себе критическое замечание: «Какой ты странный мужик, Страто, то есть замысловатый вы какой-то человек, не совсем русский».

Вот наконец что-то похожее на имя промелькнуло в авторских размышлениях, однако, и впрямь, что это за имя, не совсем русское? Может быть, из Европы через Молдавию оно к нам пожаловало, как иные странные фамилии, вроде Лазо, Фрунзе, Змеул?

В ответ Узник чаще всего потуплял взор, слегка зубами издавал какое-то скрежетание, реже взрывался. «Что же, по-вашему, всякий русский должен сразу привыкать к этой вашей вонище?»

Майор ужасался: «Да вы что, гражданин долгосрочно подследственный? Знали бы вы, какие средства уходят на дезодоранты!»

Узник Страто бил себя кулаком в ладонь, бормотал: «Вот именно вкупе с вашими дезодорантами весь этот веками слежавшийся букет ссак, срак (мучительно хрипел), ххлоррки... (взмывал) невыносимо, как Ххирроссимма!»

Четверо в камере старались поддерживать бодрое настроение. Проснувшись, все принимали позу «сирхасана», то есть вставали на голову. Этот ритуал, собственно говоря, ввел

в обиход сам узник Страто. Благородная медитация вверх ногами, думал он, в конце концов отвратит ребят от стукачества. Когда-нибудь один их них, а может быть, и все трое, выйдут из позы со слезами на глазах. Вот это и будет первый шаг к духовному возрождению.

Труднее всех было поддерживать медитацию стодесятикилограммовому Филу Фофанову. Перевернутая позиция почему-то настраивала его на смешливый лад, и он, не завершив еще йоговской гимнастики, начинал рассказывать анекдоты то о Ленине, то о Сталине, то о Хрущеве, ну и, разумеется, о Брежневеве, об Андропове, о Горбачеве, о Ельцине, а то и о нынешней администрации. Неужели вот такой великолепный Гаргантюа может оказаться сексотом, думал Страто. Подозрения усиливались как раз тем, что гигант выходил из позы с совершенно мокрым лицом. Однако возможно ли такое: одновременно провоцировать и духовно возрождаться? Может быть, эта влага у него просто из подмышек натекла?

Смутные воспоминания приходили в голову Страто, когда он смотрел на двух других сокамерников, Алекса Корбаха и Игоря Велосипедова. Первый, казалось ему, вроде бы не должен находиться среди мирской суеты, тем более в следственном изоляторе. Ведь мы с ним вроде бы окончательно распрощались над пропитанной медом его двухтысячелетней копией в археологическом музее, не так ли? Нет, оказывается, жив курилка, дымит «Голуазом», испещряет поля еженедельника «АиФ», превращая каждое интервью в готовую для постановки пьесу. Что касается И.В., или просто Игоря, которому еще в 1983 году любимая девушка предрекла развал СССР, то остается только гадать, как он со своей застойной серьезностью мог снова оказаться в той самой тюрьме, где провел лучшие годы.

Дни тянулись с монотонной тягомотиной и в то же время прощелкивали один за другим, как верстовые столбы на скоростной дороге. Допросы, или, как сейчас их стали именовать, «собеседования», вроде бы тормозили бесконечное пожирание времени, пока и они не превратились в тягомотину. Особенно удручало почти полное отсутствие неба с его метеодраматизмом. В принципе, вся четверка уже начинала подмечать в себе некоторые признаки деградации, вот почему все они жаждали в конце дня усесться вокруг стола и «расписать пулю». Карты все-таки рождали череду мелких неожиданностей.

Наконец лампа под потолком начинала мигать – сигнал к отбою. Узники укладывались и начинали вспоминать свои эротические приключения.

«...случайно я заметил номер комнаты той дамы из польской делегации, с которой познакомился на конференции. Вечером, основательно поддав в баре, я подошел к ее двери и повернул ручку. Дверь открылась. Она стояла возле раковины и мыла груди. Отменные маммари, надо сказать, сущие дюгоны! Я тут же вошел и стал этих дюгоней ласкать. Она не проронила ни слова. Только чуть-чуть стонала. Сначала я занимался с ней в классической позиции, а потом решил, что, если ее перевернуть, уд войдет глубже. Так и получилось, я не ошибся... Завершала: проклятый, проклятый, любимый...»

«...ваш рассказ, сэр, напомнил мне один случай в Ялте, в гостинице „Ореанда“, только там получилось наоборот: я сам оказался жертвой вторжения. Однажды вечером на набережной я натолкнулся на киногруппу, которая снимала какую-то очередную „чеховиану“. В главной роли там была известная актриса, только что прилетевшая из Москвы. Была там и „собачка“, в данном случае огромный ньюфаундленд. Режиссером оказался мой старый приятель. Он познакомил меня с актрисой, а после съемок мы втроем отправились в ресторан. Все шло по волшебному киношному шаблону: Ялта, удары волн о парапет, массандровские вина, ресторанный джаз, влюбленный режиссер, кокетливая актриса, с понтом беспристрастный друг... Вскоре они перестали на меня обращать внимание, и я отправился спать. Ночью я проснулся словно от какого-то толчка. Мой номер был залит светом от садового фонаря, однако я лежал в тени, которую отбрасывала массивная статуя Ленина. Рядом с кро-

вацию стояла актриса в своей изящной дубленочке. Заметив лежащую в ленинской тени мужскую фигуру, она сбросила дубленочку и оказалась полностью нагой. Нагой и основательно бухой. „Эдька, просыпайся, – сказала она хрипло, – снижаюсь на твой перпендикуляр...“ В процессе снижения она все-таки заметила ошибку. „Фу, черт, это не ты, ну да ладно, сажусь на ваш перпендикуляр, товарищ Как-вас-звать...“

«...а я вам расскажу, друзья, один любопытный случай проституции, клиентом которой мне пришлось оказаться. Я работал тогда заместителем главного редактора в одном большом издательстве. Однажды мы отмечали на работе День женской солидарности, или как его там, в общем, Восьмое марта. Столы стояли буквой „П“ в конференц-зале, и на дальнем конце одной из пэшных ног я заметил миленькую девчушку, явно не принадлежащую к числу сотрудниц. Смотрю, она мне подмигивает, и это при всей своей ультраневинной наружности. Я пожимаю плечами и показываю руками – дескать, никак не могу выбраться из-за этого стола. Тут ко мне кто-то лезет с тостом, и девчушка в этот момент пропадает из поля зрения. Экая жалость, думаю я, исчез такой симпатичный юный талант. И вдруг через несколько минут я ощущаю, что чьи-то пальчики взяли меня за оба колена. Заглядываю под скатерть, а там внизу как раз и разместился юный талант: оказывается, проскользнула под всем столом. „Товарищ Фофановф, – шепчет она, – айдате в ваш кабинет, а?“ Как вы понимаете, упрашивать меня, молодого бюрократа, не пришлось.

В полутемном кабинете мы устроились с Людочкой на кожаном диване, который согласно легенде принадлежал еще наркомпросу Луначарскому. Стараясь не раздавить юницу своей массой, я все время держал ее на коленях. Помимо всего прочего она любезно предоставляла мне свои грудки; они находились как раз на уровне моего рта. По ходу всего действия она не переставала говорить мне о своем женихе. Он, оказывается, гениальный писатель, и она мечтает, ох, Фофаночка, уж так мечтаю, чтобы его роман благосклонно был прочитан в вашем издательстве. Конечно, Людочка, прочтем, обязательно прочтем, ободряю я ее; ну как можно не прочесть книгу гениального писателя. Проституция всякого рода меня всегда почему-то вдохновляла.

По завершении этого поистине отменного соития я все-таки сказал, что прохождение книги не только от меня зависит. «А вы напишите мне, Фофаночка, от кого еще это зависит, и подрисуйте там телефончики, лады?» Я написал на клочке несколько имен, и она, совершенно счастливая, выпорхнула из кабинета. Жениховская книга, конечно, вышла у нас приличным тиражом и получила премию имени Ленинского Комсомола...»

В таком духе еженощно проходило накопление тюремного Декамерона. Увы, всякий раз оно ограничивалось только тремя новеллами. Четвертый потенциальный автор почему-то в этом творчестве не участвовал. «Какого черта, Ген, почему вы-то отмалчиваетесь?» – как-то раз спросил его Корбах.

Ген! Ура! Наконец-то я вспомнил его полное имя! Ген Стратов! Как я мог его забыть? Ведь именно из этих слогов возникло несколько чуть-чуть более продолжительное имя моего юного героя тридцати-с-чем-то-летней давности!

«Ничего не могу к этому добавить», – сухо отвечал Ген Стратов своим сокамерникам и замолкал до утра. И все замолкали вслед за этим молчанием. И каждый наконец-то оставался в одиночестве. Каждый думал о своем собственном прошлом и отгонял мысли о будущем. Не проходило, конечно, ни одной ночи, чтобы у каждого не мелькала неизбежная мысль: а кто все-таки в нашей компании стучит? И неужели все трое раскалывают одного меня? Объективности ради скажем сразу, что среди этих четверых не было ни одного осведоми-

теля. Осведомлял майора Блажного только невидимый паучок «Мицуоки», вмонтированный за санитарной выгородкой в бачок унитаза. Для привилегированных следственных тюрем, вроде «Фортееи», Прокуренция не скупилась на фирменные приборы.

Однажды ночью до Гена Стратова дошло, что утром ему исполнится 43 года, это ему-то, «который хорошо учился в школе и не растерялся в трудных обстоятельствах». От этой мысли мгновенно вспотели башка и плечевой пояс. Надо все-таки расставить вехи, в отчаянии подумал он. Без вех все пронесется, как скоростной спуск, как будто в жизни не было слалом, как будто не дотянул до «кризиса середины жизни», до этой тюрьмы. Когда я окончил школу? То ли в 1977-м, то ли в 1979-м, нет, в 1978-м, вот именно в том, когда Ашка (бывшая Наташка) пришла на выпускной бал в обтягивающих джинсах. Нет, детство вспоминать не будем, нечего валандаться с детством, детство – это не веха. Ведь не будем же вспоминать, как вышли те книжки, после которых все стали спрашивать: «Ген, это не про тебя там книжки насочиняли?» Ну все-таки давай вспомни хотя бы золотую медаль. Он попытался вспомнить тот кругляш – куда он закатился? – но вместо этого стали проноситься какие-то слегка чуть-чуть бесноватые блики времен активности в рамках движения «Молодые лидеры мира».

Блики 78-го

Бабушка при всех боевых орденах по случаю медали испекла огромный пирог, похожий на рельефную карту Варшавского договора. В нынешней ситуации резкого обострения лучшие юноши страны должны пройти серьезную спецподготовку, сказала она. Как вы считаете, Лев Африканович? Вечеринка протекала в рамках семейно-дружеского совета. Среди родных присутствовал и некий товарищ Хрящ Л.А., «свояк», то есть муж младшей сестры бабушки, занимавший еще недавно немислимо высокий пост в Смольном, а теперь перебравшийся в Москву, в какие-то совсем уже заоблачные сферы на Старой площади. Не следует ли нашему отпрыску поступить в Краснознаменный институт соответствующих органов? Лев Африканович усмехнулся и подмигнул Гену, намекая, что между ними может произойти «настоящий мужской разговор».

Мама пожала плечами. Она не знала ни одного института лучше ее Института им. Лесгафта, где занимала должность завкафедрой биостимуляции. Все эти резкие обострения в современном мире имеют тенденцию к внезапному растворению. Я вижу Гена в роли деятеля мирового олимпийского движения.

Тут вмешался папа, долговязый молодой человек со следами высокогорного ожога. «Я с Ольгой категорически согласен. В системе обострений мальчику совершенно нечего делать, тем более что она чревата окончательным разжижением. Товарищи интересуются: кто она? Система, товарищи, но не Ольга. Что касается подъема на высоты, я вижу этого юношу рядом с собой на леднике истинного социализма и потому преподношу ему сейчас великолепные фирменные трикони. Подавай бумаги в наш Горный, сынок!»

Не перестававший как-то странно подмигивать Лев Африканович поинтересовался, какие планы вынашивает сам объект семейного спора. Ген озарил всех присутствующих великолепной, хоть и несколько предательской улыбкой.

«А я уже отослал бумаги в МИМО».

«Мимо?» – вздрогнула всеми фибрами его могучая бабушка.

Товарищ Хрящ в этот момент хмыкнул, да так, что у всех что-то хрустнуло.

«Имеется в виду Московский институт международных отношений, так, что ли, Генаша?»

«Прошу вас так меня не называть, – строго поправил его наш герой. – Я не Геннадий, а Ген, за что безмерно благодарен моим родителям».

Тут грохнули аплодисменты и прозвенели бокалы.

Между тем яблочно-капустный пирог исчезал с той же стремительностью, с какой Европа исчезла бы под гусеницами танковых армий ГДР, Болгарии и Польши, ведомых кантемировским кулаком. И только когда от него (от пирога) остался последний центральный кусок, напоминающий Швейцарию, в столовую влетела Ашка, одноклассница Гена Страто. Именно его (кусок) и смахнула со стола в пунцовый рот припозднившаяся красавица.

Лежа во мраке «Фортеции» двадцать пять, что ли, лет спустя, Ген Страто страстно вспоминал это ярчайшее событие 1978-го, что ли, года: стремительное появление Ашки, захват швейцарского куска, интенсивное его поедание, мелькание жемчужных зубов, вишневых губ, вздувшихся от жевания щек, огромных юмористических глаз, озирающих всю компанию и вспыхивающих всякий раз при взгляде на Гена Страто; фортиссимо!

«У меня для всех собравшихся есть качественная новость, то есть по поручению компетентных органов, – сообщил товарищ Хрящ. – Принято решение зачислить Гена Страто в МИМО и немедленно отправить его вместе с группой выдающихся ай-кью– студентов в Колумбийский университет по программе „Молодые лидеры“. – Он замолчал, обвел замощенным взглядом семью с друзьями и добавил: – На год, товарищи, на цельный фискальный год!»

Вместо взрыва радости воцарилась традиционная русская «немая сцена». Всем присутствующим показалось, что по душу Генчика приехал какой-то страшноватый ревизор. А как иначе можно интерпретировать интерес к мальчику со стороны дикообразных компетентных органов?

«Ну если Родина прикажет...» – начала было бабушка и замолчала, столкнувшись глазами с «детьми», то есть с Генскими родителями.

Фразу закончил Лев Африканович:

«...каждый истинный гражданин должен следовать соответствующей ориентировке!»

«Никуда он не поедет! – вдруг воскликнула Ашка. – На целый год?! Никогда! Каким бы он ни был фискальным!» Она вроде совсем другой какой-то смысл вкладывала в это понятие.

Даже и сейчас во мраке четырехместной камеры, в окружении похрапывающих эротоманов Ген преисполнился сладостью подтвержденной любви: вот так Ашка мной распоряжается даже вопреки распоряжению партии!

Товарищ Хрящ тут повернулся к девочке-полуребенку.

«Это как прикажете понимать, товарищ мисс? Молилась ли ты на ночь, Пенелопа?»

«Ген без меня никуда на год не уедет. Ведь мы с ним вчера расписались».

«Ура! – вскричали тут родители. – Вот так ведь и мы в пятьдесят девятом, на пике оттепели, в вихре антисталинских идей прямо с новенькими аттестатами в загс рванули!»

Черт, отразилось на пожившем лице Льва Африкановича, вот так ведешь корабль по курсу, а ключевые события остаются за бортом. Эх, халтура-халтура, родная наша советская халтура-агентура.

Весь стол, а было там не менее пятнадцати персон черт знает каких друзей и родственников, шумно колебался, обсуждая событие. А Ашка под шумок уселась вплотную к Гену и воткнула ему в плечо свой остренький подбородочек.

«Спокойно, товарищи! – утихомирив стол Хрящ. – Поскольку я от лица ЦК КПСС курирую ЦК ВЛКСМ, значит, располагаю определенными полномочиями. Значит, так...» Довольно длительное, измеряемое по крайней мере двумя-тремя минутами, молчание, шквал эмоций переходит в зыбь эмоций, через открытые окна доносится музыка Запада,

какая-то боссанова... «Значит, так, через месяц после отъезда Генчика в Колумбийский университет отправится и его почтенная супруга. Этот обмен будет проходить в рамках программы „Девушки Севера – девушкам Юга“. У тебя, Ушка, есть немалое преимущество перед другими, а именно твои фантастические результаты в стрельбе из лука. В принципе, ты пошлешь свою стрелу мира с Севера на Юг и утвердишься в истории как эталон социализма! Только уж, пожалуйста, без вихря антисталинских идей!»

Тут начался такой хохот, что Льву Африкановичу ничего другого не оставалось, как только удивляться: «А что же я такого сказал, особенно смешного?»

Узнику Страто ничего другого не оставалось, как только лежать во мраке с вафельным полотенцем на лице, промокать глазные впадины и удивляться, как же ему удалось заново пережить то неповторимое счастье на стыке детства и юности.

Без всякой связи после нескольких минут сна выплывает еще одна веха, 1989-й, те времена, когда он, Ген Стратов, оказался на самой вершине Ленинского комсомола.

Блики 1989-го

«С утра болела голова, но хуже то, что надоела...» Эта строчка нередко привязывалась к нему с похмелья, но он никак не мог вспомнить продолжения стиха, да и имя автора было в полнейшем тумане. Иногда казалось, что стих этот читал кто-то из друзей отца и будто это было связано с летом 1968 года, с Коктебелем, когда ему и Ашке было то ли восемь, то ли пять лет. Жгли костры в недоступных с суши бухтах – Третья Лягушачья, Сердоликовая, Разбойничья, Львиная... Коммуны «физиков и лириков», гитары, Окуджава, Высоцкий, Галич, транзисторы, «Голос», «Волна», «Свобода»... Иногда на малых оборотах мимо проходил сторожевик, оттуда смотрели в бинокль. Матрос на корме показывал контрикам дрынду. Нет, тот стих никак не вспоминался.

А вот это явно из 1989-го... В полдень цэковская «Волга» подвозит его к зданию одряхлевшего конструктивизма. Он входит, как всегда, с иронической улыбкой. Черт знает, зачем я принял приглашение в секретариат, когда вся лавочка дышит на ладан? Никто на него вообще не обращает внимания на этих стертых ступенях великой утопии. По ним только шунзя с разговорами шлепает, банановидные варёнки там мелькают да синие пиджаки с коваными пуговицами – униформа коопщиков, эспешников и ооопщиков. В большом зале, где когда-то инструкторы секторов тихо шелестели подшивками черт знает чего, теперь вся эта братва громогласно утверждает новые варианты «телефонного права». Проходя через зал в главные анфилады, Ген улавливает обрывки императивов:

«...КрАЗы» идут по безналичке, а вот за «УАЗы» выкладывайте, мужики, капустой. Вам ясно?»

«...Давай, отправляй сразу все триста ящиков и ни одной бутылкой меньше, а то с тобой Шамиль поговорит; понятно?»

«...Остыньте, мужики, проплачивайте киловатты, получите кубометры, иначе придется всю вашу лавочку закрывать. Вами, между прочим, из Прокуренции хлопцы интересуются».

В анфиладах все выглядело более-менее в соответствии с партийно-комсомольскими традициями: большие приемные с двумя-тремя секретаршами, деловито проходящие сотрудники в серых протокольных костюмах с однотонными галстуками, сидящие вдоль стен командировочные с мест. К Первому проследовали две солидные горничные с подносами, несли чай с ломтиками лимона и вазочки с сушками – все в партийно-комсомольских

традициях. Пропустив вперед горничных, проследовал в кабинет Первого и Шестой, то есть Стратов Ген Эдуардович, двадцати девяти, что ли, или двадцати семи лет от роду.

Его появление вызвало дружеский смех у присутствующих, пятерых секретарей и трех заведомыми. «Ну вот и Ген явился, можно начинать!» Он впервые был на негласном заседании Секретариата. Народ вроде вполне нормальный, вопрос только в том, можно ли с ними нормально говорить. Все курили американские сигареты. Боржоми в середине стола стоял попеременно с пепси-колой. За креслом Первого на отдельном столике зиял большой IBM-компьютер; вопрос был только в том, умеют ли здесь пользоваться этой машиной.

Первый предложил поприветствовать нового молодого товарища. Все с удовольствием поаплодировали. У Гена Стратова, несмотря на возраст, накоплен очень богатый и очень нам нужный сейчас бэкграунд. Он был в «Колумбийке», участвовал в программе «Молодые лидеры», защитил диссертацию в МИМО, работал в Африке, заседал на многих международных конференциях, попал в серьезную переделку тут, по соседству с нами (жест большим пальцем в сторону площади Дзержинского), блестяще выкрутился из почти безнадежной ситуации, нашел мужество вернуться на родину, в самое пекло нынешних событий, и вот он среди нас. Мы очень рассчитываем, Ген, как на твой опыт, так и на твои личные качества. Именно такие ребята, как ты, сейчас нужны комсомолу. Мы знаем, что ты очень резко вошел в наш зарождающийся бизнес, что нам у тебя надо поучиться маркетингу-то, законам рынка-то. Мы знаем, что ты так же основательно вообще-то интересуешься редкоземельными металлами. В этом смысле перед комсомолом открываются огромные перспективы, однако сейчас мы вот тут с ребятами жаждем, чтобы ты с нами поделился, ну, в общем, философским опытом.

«Личным?» – спросил Ген.

Ребята заволновались. Ну, конечно, и личным, но, в общем-то, общим. О тебе ходит молва, что ты никогда не был, ну, как это сейчас говорят, «совком». Вот и в загранке ты ведь не столько материальной культурой интересовался, сколько трудами русских философов, которых нас, комсомольцев XX века, большевики лишили. Наши люди из соседнего учреждения передавали, что ты из последнего путешествия целый чемодан философии приотаранил. Ты, конечно, понимаешь, как важен сейчас философский багаж для лидеров молодежи. Важен до чрезвычайности. Нельзя недооценить важность философской переоценки, особенно сейчас, на грани новой революции.

«Революции?» – переспросил Ген.

Ну, а как же еще, Ген, можно назвать то, что сейчас так сильно набирает обороты? Ведь у нас почти три четверти века не было революций. Из-за них, из-за этих, мы жили без революций. Ну как это еще назвать, если не революцией? Ведь все эти «ускорения», «перестройки», «гласности», ведь это же не что иное, как... ну как это называется...

«Эвфемизмы?» – предположил Ген.

Ребята просияли. Вот именно, вот именно как Ген сказал! Давайте запишем, чтобы потом на Старой-то кому-нибудь под ребро впарить! «Эвфемизмы» – это клёво! Там между «э» и «ф» еще «в» прячется, вот так! Ну, в общем, Ген, ты, конечно, помнишь то, что Стендаль-то в фильме «Пармская обитель» сказал: «Несчастлив тот, кто не жил перед революцией», вот мы и хотим узнать, как наша русская философия отвечает на запрос века.

«Вы о Бердяеве слышали, друзья?» – тактично спросил Ген и весело покивал, когда негласный пленум расцвел улыбками – слышали, слышали о Николае! «В общем, наша религиозная философия возникла на фоне расцвета русского символизма, то есть культуры Апокалипсиса, так? В течение тридцати лет одаренные люди России толковали Апокалипсис, или „конец истории“, как гибель нынешнего человечества и переход в новую фазу пока что непостижимого свойства. В начале века только и делали, что ждали конца, сидели на балконах, блуждали по набережным, пытались расшифровать небесные послания. Ну, разумеется,

и шампанское пили, и за барышнями ухаживали. Развал Империи они трактовали как начало Апокалипсиса и потому-то и приветствовали Революцию; все эти Блоки и Белые... На деле же оказалось, что не феерия общечеловеческая грянет, а какая-то бессмысленная кровавая лажа. Вот тут Бердяев и высказал свою гипотезу, что революция – это „Малый Апокалипсис“, то есть своего рода карикатурная репетиция конца истории. Однако платить за такие „репетиции“ приходится миллионами».

«Баксами?» – тут же спросил один из секретарей, кажется, Третий, Олег Гвоздецкий.

«Миллионами голов, – поправил товарища другой секретарь, кажется, Второй. – Так, что ли, Ген?»

«Ну в этом смысле».

«Скажи, Ген, где ты это все постиг?» – с исключительным интересом осведомился Первый.

«Да это я брал семестр по конфликтологии в университете „Пинкертон“. Там такой профессор из наших, Стас Ваксина, читает курс „Образы утопии“».

Все снова заговорили разом. Вот это да! Конфликтология! Образы утопии! Вот чего нам не хватает, парни! Особенно сейчас, когда в двух шагах от такой гребаной «репетиции» стоим! Ты-то сам, Ген, понимаешь, перед чем мы стоим? Что за вопрос, ребята, и к кому, к самому Гену Стратову, который в отличие от нас, комсы райкомовской, так глубоко русскую философию постиг!

Тут Первый наконец овладел ситуацией. «Вот теперь, Ген Эдуардович, мы подошли к контрапункту ситуации. Вот видишь, как у нас все сложилось в партийно-комсомольских кругах. Геронтократию мы преодолели, а сами оказались в тупике. Народ миллионами выходит на улицы, на митинги Межрегиональной группы. Требуют отмены шестого пункта и добиваются успеха, а без этого пункта трещит вся система. В таких условиях мы должны добиться максимального уменьшения числа жертв. Необходимо сделать этот „Малый Апокалипсис“ предельно малым и, самое главное, не силовым. Без танков и без баррикад, понимаешь?»

Ген вытащил из своего кейса лист бумаги и начертал на нем два слова предельно крупными буквами: «Революция Духа?» Всем показал начертанное. Актив опять разволновался. Вот это толково! Подменить ББ сильным ДД, то есть духовным движением! Какой еще ББ? Как какой – «бессмысленный и беспощадный»!

«Об этом писал Толстой, – сказал Ген. – Все отказываются выполнять драконовские циркуляры, начиная от солдата, кончая маршалом, и тогда, как он сказал, „духовная революция вспыхнет, как сухой стог сена“».

Все замолчали и молчали несколько минут. Похоже было на то, что дискуссия подошла к главному своему пункту. Наконец, один из Секретариата, кажется, Пятый, дерзновенно стащил с шеи галстук и намотал его на кулак. «Ген, согласишься ли ты возглавить комсомол и подвести его к самороспуску?»

Не успел он ответить, как в кабинет вошли двое в красных пиджаках с большими картонными боксами, вскрыли их короткими, но весьма надежными ножами, расставили по столу не менее дюжины бутылок. «Настоящее мерло, господа, как заказывали». Снова началось стихийное, какое-то приподнятое волнение. Настоящее мерло? По-настоящему настоящее, да? Ген, ну поделись опытом. «Значит, так, ребята, сначала оставляете бутылки открытыми минут на десять, чтобы продышались, наполнились кислородом предреволюционной эпохи. Потом наливаете на дно бокала каплю вина, смотрите ее на свет, оцениваете цвет и прозрачность, потом нюхаете, определяете чистоту запаха, потом раскручиваете в бокале и наконец пригубляете, после чего можно уже сказать: вино настоящее!» По-настоящему настоящее, Ген? «Ну почти». Ура, ура! Почти настоящее – это на данный исторический

момент выше настоящего! А помните, ребята, как наш простой советский дегустатор дегустировал мочу? Ну давайте выпьем за Гена! За будущий отпуск комсомола!

Кто-то раскрыл утреннюю газету, то ли «Правду», то ли еще какую-то из так называемых «левых», то есть отчасти «правых». А вот смотрите, какой стих сегодня тиснули: «Защити нас, ЦК и Лубянка! Больше никому нас защитить». Это чье же такое весомое творение? Станислава Куняева! Ген слегка даже поперхнулся «настоящим мерло»: да ведь это как раз тот самый автор, которого не мог вспомнить с утра.

«А знаете, ребята, этот автор когда-то другие стихи писал. Помню, как мои родители с утра в Львиной бухте его читали:

С утра болела голова,
Но хуже то, что надоела
Старинная игра в слова,
А я не знал другого дела.

Долго еще гудел и волновался актив доживающего свои дни комсомола, и все уже хлопали Гена по плечам, уже предвосхищали его как вождя исторического самороспуска, хотя он еще не ответил ни «да», ни «нет». Станным образом и он сам ощущал какой-то неясный подъем, некое вдохновение в здании одряхлевшего конструктивизма, в штабе неминуемого и очищающего предательства.

Конечно, идея самороспуска не тотчас родилась, спонтанной ее назвать трудно. И в том соседнем учреждении, в чью сторону комсомольцы не раз показывали пальцами, она, по всей вероятности, была провентилирована. Еще пару месяцев до того, как Ген был введен в Секретариат ЦК ВЛКСМ, он был отчасти приобщен к подспудной дискуссии на эти довольно скользкие темы. Однажды в кругах зарождающегося бизнеса прошел слух, что вскоре состоится ключевое совещание на тему близкого будущего, а вскоре прошла серия телефонных звонков. Любезнейшие голоса приглашали активистов бизнеса – всего их оказалось персон не менее тридцати – собраться для обмена мнениями во Фрунзенском райкоме.

Ген с Ашкой подъехали в своем десятилетнем «рэнджровере» точно в назначенный час. В коридоре возле конференц-зала уже разгуливали свои из деловой молодежи. Вдруг из какого-то кабинета вышел кто-то донельзя знакомый, лишь до невероятности загорелый и седовласый, попросту копченый кабан – ба, да ведь это не кто иной, как свояк, Хрящ Лев Африканович!

«Генчик, Ашка моя родная, как я рад, что вы приехали! Я так и товарищам нашим сказал – мои приедут!»

Пристроились все трое у подоконника.

«А вы что же, дядя Лев, тоже будете вещать о близком будущем?» – спросил Ген.

«Собирался, но не могу. На дачу уезжаю. Ох, ребята, вы бы видели мою дачу, сплошной монплеzir! Надеюсь, что вы как-нибудь вместе с Катюшкой ко мне завалитесь. Какое там купанье, какое солнце – ну суший рай земной!»

В окно между тем, очевидно, для того чтобы подчеркнуть прелести дачи, начал хлестать ледяной дождь.

«А где у вас дача, Лев Африканыч?» – поинтересовалась Ашка.

«На Мальте. Это страна-остров. Меня там все руководство знает. Вот такое наслаждение мне привалило. Партия позаботилась о заслуженном отдыхе. Вообще, ребята, держитесь за Партию. Она, может, и исчерпала свой ресурс, однако синоним-то ее, ну, Родина-то, эта выдюжит. Всасываете? – Склонился, чтобы сообщить нечто конфиденциальное: – Принято решение удерживать базовые ценности. Сейчас с вами как раз поговорят на эту тему».

В этот момент приятнейший голос, кажется, женский, пригласил всю небольшую толпу проследовать в зал. Свояк на прощанье вручил им свою мальтийскую визитную карточку, на которой значилось: «Лео Кортелакс, Генеральный консультант».

Представители Родины, трое в костюмах спецпошива, все трое вроде на одно лицо, но с индивидуальной асимметрией: у одного левая щека отвисает, у другого сглажена правая бровь, у третьего щедрая мимика кочует с одной половины лица на другую, а в отсутствие мимики всякая сторона каменеет значительностью. Предстоит тектонический сдвиг, товарищи, или, лучше сказать, господа. В песне, конечно, поется «мой адрес – не дом и не улица», однако СССР – это не Родина, а всего лишь политический нюанс. Всем все ясно? Родина – это наша вечная философия, и за нее мы постоим. Вместе с вами, с новым Ком Со Молом, то есть с коммерческим союзом молодежи. Это, конечно, шутка. Однако сегодня у нас на повестке дня очень серьезный вопрос. Соответствующие органы намерены предложить вам, молодым бизнесменам, серьезные инвестиции для развития ваших предприятий. Тот, кто сейчас примет решение, будет всегда оплотом Родины. То, что бессмысленная пресса именуется «золотом партии», на самом деле является ресурсом Родины.

После часа подобных разглагольствований всех пригласили на ужин. Ашка, прикрывшись крахмальной салфеткой, сказала благоверному: «Опять осточертевшие подметки паюсной». Благоверный же брякнул без всякого прикрытия: «Опять растленный табака».

По ходу ужина свежие мысли благовозвращенного патриотизма продолжали поступать с перекладины буквы «П». Что такое Родина? Однозначно: место рождения. Нет, брат, не так. Родина – это которая распределяет. Всем, чтоб не сдохли. Другим – по понятиям. Защитникам больше, чем защищаемым. Она любит полезное, всяческие изделия. Чтоб на нее другие не повышали голос. Она течет, как ртуть, всеми многонациональными евразийскими потоками. Ошеломляет нежелающих сзади, во мраке. По кумполу или с вывертом рук. Зависает сама над собой, созерцает из Божьего пространства свои земные угоды. Выдвигается по специальному назначению. Бредит прошлым, манит в будущее, отсутствует в настоящем. Вот именно, как всякий. А говорит по-русски, хотя нередко и с акцентом. Пишет слева направо, однако с крючками, с пятнами родного, хоть и нечленораздельного, потому что едина и неделима.

Мрак «Фортеции», мычание, мука...

Прыжок пятками вперед, обратно в 1978-й.

Блики 1978-го

Когда свояк с тетей Гриппой вслед за всей родней отчалили, в семье возобновились дебаты о будущем Гена. Кто-то предположил, что отработчик шутит. Бабка возмутилась: Лев на такие темы не шутит. Никогда! И все-таки на месте мальчика я бы начала готовиться в команду космонавтов, а для этого надо идти в МАИ. Поколение Гена должно приступить к «космическим одиссеям». Выслушав ее соображения, нынешний Узник, строгий юноша конца 70-х, сказал, что, пока человечество не откроет новые энергии, говорить о космических одиссеях не приходится. Пока что он решил посвятить свою жизнь Африке как возможной арене массовых бедствий. Вот почему он рад, что его зачислили в МИМО, да еще и отправляют в Нью-Йорк по программе «Молодые лидеры». Папа вспылил: ты в своем идеализме попадешь в толкучку всяческих сынков «нового класса». Нынче у нас только на леднике можно остаться честным человеком. Бабка – отцу: Эдька, ты хочешь, чтобы мальчик порвал связи с обществом, превратился в снежного человека? И это после стольких славных

дел, повлиявших даже на литературу?! Мама и папа: бабка, ты что, не понимаешь? Он может попасть в консолидацию самых мрачных элементов из всевозможных секретных органов. А ты, Ген, прежде чем взяться за Африку, подумал бы о нашей несчастной Родине. В правозащитных кругах говорят, что готовится поход на Крым.

Ген улыбнулся. Жребий брошен. Я сделаю все, чтобы отличиться среди «Молодых лидеров», окончить МИМО и получить назначение в ООН. В Африке разрастается так называемый социализм. Руководство СССР безответственно поощряет всех диктаторов, объявляющих себя марксистами, включая и каннибалов. Нищие страны получают несметное количество оружия. Став работником ООН, я постараюсь этому противодействовать. В ЦК тоже есть здравомыслящие люди. Буду опираться на них. Ради спасения Африки и, в частности, Габона пойду на сотрудничество с разведкой. Папка, мамка, бабка, Ашка, неужели вы не понимаете, что экспансия в Африке напрямую сопряжена с судьбой нашей Родины?

Неожиданную черту под дебатами подвела ровесница-жена. Какая странная наивность у взрослого восемнадцатилетнего человека! Начитался всякого вздора, всех этих «Памятников», всех этих «Сундучков»! Вообразил себя спасителем народов! Ты что, забыл о главной цели, которая поджидает нас в Африке? Там, а именно в Габоне, где появились на свет Божий Адам и Ева, мы должны будем зачать нашего ребенка! И к этому мы должны готовиться уже сейчас; пошли в твою комнату!

Во мраке камеры он вдруг почувствовал, что задохнется, если сейчас же не закурит. Подставил табуретку к высокому, под потолком, окну. Поднял фрамугу, просунул в ячейки решетки кисти рук, вlepил в решетку мокрое от слез лицо, двумя пальцами вставил в лицо сигарету, двумя пальцами другой руки чиркнул огнем, блаженный дым вошел из прошлого в этот миг, прочистил башку. В огромном небе висел тончайший серпик Луны. В детстве, бывало, показывали серпику через левое плечо мелочь денег, чтобы разбогатеть. Свершилось, но что теперь делать-то с этими миллиардами?

Вдруг вспыхнуло острейшее воспоминание ужаса. Рев моторов, дикая тряска борта, зияющая бездна за открытой дверью. Борт полон хохочущей от ужаса молодой толпой. «Я не прыгну, – шепчет он на ухо Ашке. – Убей, не могу!» «Если не прыгнешь, я с тобой разбежусь! Дам сегодня вон тому негру!» – яростно шепчет в ответ она.

Группа «Молодые лидеры мира» устроила им свадьбу в небе над Флоридой. Все – и они оба – прыгнули с парашютами в сопровождении прессы и ТВ из четырехмоторного Memphis Beaux, «летающей крепости» времен WWII. Вращаясь в потоках воздуха, сблизилась и обменялись кольцами. Губы соединились в поцелуе. Только выхлопы парашютов оторвали их друг от друга.

Эти губы, губы, губы, черт бы их побрал! По сути дела, этот поцелуй продолжается уже четверть века, невзирая ни на какие выхлопы. Ген в отличие от президента Картера даже в мыслях своих не изменял Ашке. Чуть ли не каждую ночь он подвергал свою благоверную существу сексуальному истязанию. Начинал, как полагается, в традиционном супружеском соитии, а потом, умаявшись в мерной качке, вытаскивал Ашку за руку или за ногу из постели и начинал гонять ее по квартире: усаживал на подоконник, растопыривал на ковре, прижимал к стенке, после чего долго носил ее на согнутых и просунутых ей под колени руках и, наконец, заставлял сползать по дереву к подножию, где у нее, коленопреклоненной, начинало дергаться горло, и только после завершения этой части акта она вновь обретала дар речи, бормотала «Приап дурацкий» и наконец, счастливая, впадала то ли в сон, то ли в транс с содроганиями.

Больше никого он знать не хотел никогда. Даже став миллиардером и президентом корпорации, отказывался от самых умопомрачительных эскортов, чем вызывал довольно

едкие толки в тусовке. Да что там говорить, даже и в этой веками пробздетой и захлорированной «Фортеции», невзирая ни на какие составы, что Родина растворяла в пище, страсть к супруге не умялась. Раз в месяц им предоставлялись свидания в гнусной пристройке, напоминавшей брусок постного сахара подлейшего розоватого с пятнами цвета; именовалось это «семейный павильон». Ашка приходила с постаревшим лицом, с наплывами под глазами, в байковом тренике, мешком висевшем на ее девчачьей фигуре, или в затертой джинсовой паре. Он тут же начинал вырубать торшеры и канделябры, во-первых, чтобы затемнить тошнотворный гэбэшный китч на тему «Ромео и Джульетта», во-вторых, чтобы затруднить съемку. Оставалась одна голая лампочка в коридоре между сортиром и спальней. Свет все-таки сквозил сквозь щели и матовые стекла. Бардачный полумрак сводил их с ума. Все полтора часа они не отлипали друг от дружки. Говорили только шепотом в ухо.

Интересно, что после каждого свидания с женой он начинал ловить на себе какие-то особенные взгляды коменданта. Под этими взглядами у него начинали тяжелеть и без того тяжелые от бесчисленных отжиманий и подтягиваний руки. Похоже было на то, что съемка все-таки шла, должно быть, на какую-нибудь лядскую сверхчувствительную нитку какой-нибудь инфракрасной аппаратурой. А потом эта пленка просматривается в тесном офицерском кругу. Он еле сдерживался, чтобы не заклеить таракана оглушающей, если не убивающей, пощечиной. Потом он стал замечать во взглядах Блажного непонятную дрожь, вызванную то ли ненавистью, то ли унижительным восхищением. Эти наблюдения привели его к полнейшему отчаянию. Единственное никому не подвластное откровение его жизни, его любовь к Ашке, становится утехой тюремщиков. Как видно, несмотря ни на какую высокую политику и миллиардную торговлю, ему отсюда уж никогда больше не выйти. Впрочем, так уже и раньше ведь бывало в жизни, когда уверенный подъем к успеху оборачивался безнадёжным срывом вниз. Он вспомнил, как его внезапно отозвали из Найроби.

Блики 1985-го

Сначала он не понял, что «отозвали», думал, что просто «вызвали», как обычно по какому-нибудь дурацкому поводу: совещание, брифинг, запрос в инстанциях. Служащих ООН Москва вызывала часто, чтобы на забывались, а после бегства Шевченко такие вызовы стали просто походить на нарастающую паранойю.

В МИДе он пришел, как всегда, в африканский отдел, но там лишь плечами пожимали: «Нет, Ген, на данный текущий у нас к тебе вопросов нет». К тому времени во всех соответствующих структурах имелись у него однокурсники. Один из них позвонил общему другу на Старую площадь и, пока с тем разговаривал, существенно изменился в области лица: комсомольский пофигизм сменился партийной сурьезностью.

«Вот там тебя ждут, – сказал друг Гену, повесив трубку. – Твои прямые кураторы тебя ждут, в общем, у Чегодаева».

Оказалось, что не «у Чегодаева» его ждут, а сам товарищ Чегодаев пребывает в хмуrom ожидании. «Поедете со мной! – раздраженно сказал ветеран международной солидарности. – Вопросы вам будут задавать у Бейтабеева». Названный генерал вообще-то бытовал в Ясневском центре, куда советские сотрудники международных организаций в определенные сроки подавали докладные, однако вместо поездки через всю Москву чегодаевская «Чайка» сделала лишь несколько кругов по близости от Старой и остановилась у главного входа в комитет прямо за спиной «козлобородого палача в длинной кавалерийской шинели», как называл эту работу по металлу писатель Катаев.

Выходя из машины, «молодой блестящий специалист» с тоской посмотрел через площадь на станцию метро, откуда и куда толпами валил праздный народ. Вспомнилась вдруг пьяноватая болтовня в баре отеля «Хайят-Ридженси» в Найроби после возвращения из

Сомали, где заседали по вопросам региональных продовольственных кризисов. Кто-то из американцев, кажется, Дэйна Одом, затеял дурацкий разговор о штурме Лубянки. Дескать, дело нехитрое. Достаточно-де под видом туристов забросить на ближайшую станцию метро сотню координированных парней, а потом всей этой сотней перебежать площадь и проломить двери – вот и все, *history in its making!*

В кабинете, куда он попал, из окон был виден «Детский мир» с лозунгом «Пусть всегда будет солнце!». Чегодаев с Бейтабеевым обменялись рукопожатием. Прежде чем начался разговор, вошло еще не менее четырех рангом не ниже выше названных. Гену предложили стул в середине квадратуры, как подследственному. Помнится, он подумал, что после апрельского пленума все-таки не смогут так сразу. Новый-то генсек из молодых все-таки, послесталинская комса как-никак. Тут же его оглушили вопросом: «Ну расскажи, молодой-блистательный, как тебя завербовали наши коллеги из Лэнгли, штат Вирджиния!»

Ген потряс головой, восстановил слух, затем по очереди посмотрел на всех старших товарищей. Вспомнились джентльмены с острова Карбункул. Неожиданно для себя он фальшиво рассмеялся. «Этот вопрос, товарищи, с разницей в одну букву я могу задать каждому из вас с одинаковой долей абсурда».

Теперь уже настала очередь старших товарищей выразить возмущенное недоумение. «Что за наглость? Какой еще абсурд? Какая еще буква?»

«Буква „в“ в слове „наши“».

Вмешался Чегодаев: «Товарищи, вопрос серьезный. Ген без нашей санкции принял участие в провокационной акции. Сомали – это дружественное нам государство. Так что давайте без шуток».

«Я видел там вымирающие от голода деревни!» – с пафосом воскликнул молодой специалист.

Теперь уже заговорили все разом, как бы взволнованно, как бы с озабоченностью за него, дескать, как это вы дошли до жизни такой. «Мы вами недовольны, Ген Стратов. Крутитесь на холостых оборотах. Играете на НАТО. Позорите мировое сообщество ООН. Вместо того чтобы углубиться в вашу основную задачу привлечения честных деятелей к сотрудничеству с нами, вы позволяете себя привлечь к сотрудничеству с ними».

«То есть к вербовке! – бухнул тут один из генералов. – Учтите, Стратов, Родина не спускает с вас внимательного взгляда. Вы понимаете, что вам угрожает тюрьма?» Еще один генерал тут добавил сладковатым голоском: «А в таких обстоятельствах вся наша семья разведчиков собирается вместе и ждет от вас полной откровенности; согласны?»

Так прошел едва ли не час. Ген перестал отвечать на вопросы. Да генералы, пожалуй, и не нуждались в его ответах. Каждому надо было высказаться не менее трех раз. Наконец наступила трехминутная пауза, после чего все повернулись к Бейтабееву. Тот сидел, левой рукой подперев соответствующий брыл, правой рукой шебуршал в каких-то бумагах. Правый брыл свисал. Мирным голосом произнесен был вопрос: «А теперь, может быть, расскажешь нам, как вы собирались брать Лубянку?»

Демонстрируя общеизвестную чекистскую триаду, все повернулись к Гену. Тот молчал, делая вид, что принимает всех присутствующих за сумасшедших. На самом деле думал в отчаянии: что делать? Ашка и Пашка (младенец Парасковья) в Найроби. Они теряют меня навсегда.

Бейтабеев закрыл папку. «Завтра явитесь в семь утра с рапортом в четвертый подъезд, к Каховскому. Пока свободны».

Отпускают специально, чтобы проследить. Ни к кому из друзей заходить нельзя. А вот звонить нужно из каждой будки. Марш в метро, оно поможет. Надо обрубить хвост! Не зря ведь все-таки в Ясенева учили перед отправкой в ООН.

Он чувствовал затылком, задницей, пятками, а также во фронт – подбородком, пупком, коленками, что его ведут; по боковым пространствам, из подмышек, стекал пот. Толпа казалась враждебной, как будто все пассажиры участвовали в слежке. Надо заставить себя действовать в автоматическом режиме. Чего не сделаешь ради Африки. Надо уцелеть во имя Африки. Континент нуждается в великом идеалисте. В новом варианте Альбера Швейцера. Юмор, кажется, помогает: одна подмышка подсохла. Давай, Альбер, исторический Иисус, сделай все, чтобы запутать сыскную сволочь!

Ген вошел в поезд на «Дзержинской» и тут же вышел в «Охотном Ряду». Поехал вверх, прикрывшись газетой «EAST AFRICAN PILOT». В дырку видел, что эскалатор сверху мониторит типичный субъект. Поднимает шляпу в сигнале «Вижу!». Ген поднимает над плечом солнечные очки. В выпуклом стекле отражается в пяти метрах от него другой типичный субъект, вытирающий цветным платком уши и шею.

«Площадь Революции». Бросился было бегом за отходящим поездом и тут же степенно перешел на другую сторону. На «Новокузнецкой» поднялся на поверхность, переулками выдвинулся к Дому Радио. В проходной показал вахтеру красную карточку МИД СССР. Тот козырнул со значением. Ген солидно прошествовал к лифту, и тут как раз трое типичных появились, без особых примет возникли на проходной. На минуту задержались, что дало Гену возможность броситься в боковой коридор, дальше в туалет, запереться в кабинке. Там он вывернул пиджак наизнанку, то есть изменил цвет тела, из синего стал кремовым. Дальше изменил цвет головы, обвязав ее носовым платком; своего рода бандана. Теперь будем ждать. Приближается конец рабочего дня. Сотрудники всех восьми этажей повалят к выходу. В их толпе затеряется хамелеон, кремовый со светло-зеленой головой.

Так и получилось. Сортир заполнился радистами. Зажурчали струи. Кто-то с хохотом рассказывал о трех сыскных, что мечутся сейчас с этажа на этаж. Горбатенький прихрамывающий хамелеон покинул кабинку. Вымыл руки. Вода из-под крана по цвету мало отличалась от мочи. Поплелся с другими на выход. Нелегко ходить, если туфли поменялись ногами, а вот горбиться легко, когда к спине, под пиджаком, приторочен портфель с ооновскими бумагами.

На улице как раз рядом с гэбэшной «Волгой» стояло такси. Водитель цинично приценивался к толпе. Хамелеон сунул ему десятидолларовую бумажку. «В „Метрополь“, как можно быстрее. Да не в альманах, балда, а в отель!» Таких богатых в 1985 году было еще маловато. Таксист помчал.

Перед отелем этюд «Хамелеон» из золотого фонда Ясеновского центра успешно завершился. В бюро международных рейсов Аэрофлота вошел хорошо здесь известный Ген, молодой советский джентльмен из Найроби.

Девчонки, скучавшие в своих окошках, переполошились.

Ой, девочки, Ген пришел!

Как он хорош!

А в каком прикиде!

Небрежно стильный, галстук на сторону!

Вот уж фактически хай стайл!

Здесь все сидели инязовки, хоть иноязы сюда редковато захаживали, предпочитая свои фирменные конторы, то ли Люфтганзу, то ли Эр Франс; ТиДаблюЭй опять же. Основными клиентами были наши спецы, те, что по безличному расчету.

Увидев Катю, он тут же направился к ней. Если здесь все ему симпатизировали, то Катя просто умирала, трепетела своей млечно-румяной красою.

«Послушай, Катюша, у меня чэпэ. Внезапный вызов из штаб-квартиры. Можешь мне сделать билет по кредитной карточке?»

«Ах, Ген-Ген, я и не знала, что ты в Москве! Когда ты летишь?»

«Катя, я должен мчать впереди своего визга. Вылет через два часа! Вот тебе карточка „Америкэн Экспресс“».

«Ну, конечно, Ген, какой разговор! А что же по безналичному, Ген? Ведь это же проще. Ну, ладно, давай карточку, пойду у начальника спрошу». И упорхнула.

Несколько минут он стоял, внешне улыбаясь, внутренне дрожа, готовя выступление по системе «форс-мажор». Вышел начальник, им оказался однокурсник Гурам Ясношвили. «Ген, привет, а я вот, видишь, в опалу попал из-за одного гомохлебуло. Следующий раз приедешь, давай кирнем?»

«О чем говоришь, Ясно? Конечно, выступим по полной программе!»

На прощанье надо вроде бы спешить, но вроде бы и не особенно спешить, чтобы никто не подумал, что от органов рву когти. Минут пяток надо с Катюшей пофлиртовать, довести румяную до эмоциональной перегрузки.

Через шестнадцать часов после двух пересадок Ген прибыл в Найроби. Стояла ночь. Ровесница Ашка и крошка Пашка спали. В темпе собирайтесь, девчонки, берем только маленькие рюкзаки. Давай-ка я Пашку привяжу к животу на манер кенгуру. До рассвета надо слинять, а то прискачут из посольства. Снова начался колоссальнейший перелет, на этот раз в другую сторону: Найроби – Франкфурт – Нью-Йорк. В JFK их встречал африкановед из «Молодых лидеров», Дэйна Одом.

С его помощью они получили работу и дом прямо на территории Института Африки возле крошечного городка в штате Нью-Йорк. «Тут у нас надежная федеральная охрана, так что можете не волноваться, ребята: сюда ваша агентура не сунется», – успокоил их Дэйна. Он был уверен, что олухи-комитетчики даже и понятия не имеют, где отсиживаются дерзновенные беглецы.

Оказалось, что он все-таки недооценивал лубянскую службу. Однажды за завтраком, то есть по московским часам перед ужином, в доме Стратовых зазвонил телефон. На линии был все тот же стратовский свояк-опекун Лео Кортелакс, то есть Лев Африканович Хрящ. «Что же ты, Генчик, не мог на меня выйти после того чегодаевского безобразия?» У него появился какой-то барственный московский басок, вроде как у Ливанова в роли Фамусова. «Ну зачем, скажи, друг любезный, надо было устраивать эти маскарады, тащить куда-то безукоризненного ребенка, лишать московское общество красавицы Люшки, а передовой комсомол своей собственной выдающейся персоны?» В дальнейшем разговоре выяснилось, что он вышел на самый верх, после чего товарищу Чегодаеву поставили на вид, а «его превосходительство» генерал Бейтабеев по собственной инициативе, конечно, ушел в резерв – подчеркиваю, в глубокий резерв – главного командования.

Это был самый первый звонок из Москвы. Ашка прыгала рядом с телефоном, как будто ей было невтерпеж. Вырвала трубку у Гена. «Ну что там у вас, Лев Африканович?»

«У нас все бурлит. Примат духовного начинает преобладать над приматом материальным. Лучшие умы становятся флагманами перестройки. Вам нужно вернуться, и Москва распахнет вам объятия. Нужно влиться в ряды творческого комсомола, чтобы влить...» Тут он запнулся.

«Продолжайте, дядя Лев! – заорала Ашка. – И так, влиться, чтобы влить; а что влить? Прошу вас, продолжайте!»

«Влить молодую энергию в вакуум, чтобы не возникло пустоты! Итак, до скорого, и передайте, пожалуйста, от нашего передового эшелона сердечный и искренний, по-настоящему патриотический привет нашему бесценному Александру Исаевичу Солженицыну: ведь вы там неподалеку от него располагаетесь, верно?»

Положив трубку, Ашка полдня кружила по обширному американскому дому под музыку «Кармен-сюиты», «Щелкунчика», а также «Юноны и Авось». В Москву, в Москву! Ген, ты, я и Пашка, мы – три сестры! Летим в Москву! Она распахнет нам объятия!

Ген злился. Его гораздо больше тянуло в Габон. В горы Габона, где они уже были однажды, около трех лет назад. Спускались в жерло вулкана, где миллионы лет назад внезапно сфокусировалась космическая радиация, вследствие чего, очевидно, и появился первый человек, Адам, который одновременно был и Евой, пока они не разъединились для Первородного греха. Давай заночуем вот в этой пещере Адама и Евы. Конечно, заночуем, Ген, раз мы сюда добрались, ведь мы только для этого сюда и шли, для этой ночи. Хочешь пари: мы отсюда не выберемся. Конечно, не выберемся, если не будет зачат ребенок. Значит, надо зачать ребенка в жерле этого вулкана, в начале начал.

На самом краю пещеры, над прорвой, они расстелили свои спальные мешки и долго лежали на них, то глядя вверх на преувеличенные их восторгом звезды, что казались даже и не совсем звездами, а иллюминированными душами, то заглядывая вниз, где медленно перемещался какой-то калейдоскоп разноцветных углей и откуда поднимался опьяняющий пар. Потом они вошли в соитие, настолько невероятное, что оно казалось им основным событием мироздания. Очнулись, когда весь Габон, а вместе с ним и все космическое жерло, а вместе с ним и вся пещера были залиты солнцем. Над ними висели два взрослых паука, величиной с сомбреро, и маленький, не более шпильки ниток, паучонок. Сомнений не было – ребенок зачат!

По ночам в крошечной тишине штата Нью-Йорк то ли во сне, то ли наяву Ген созерцал свой Габон и думал, что они с Ашкой, в принципе, могли бы постоянно обитать в жерле того вулкана и зачинать ребенков, одного за другим, пока не возникла бы новая раса. Что ж, ради Африки, ради будущего человечества можно пожертвовать и ооновской карьерой, и объятиями Москвы.

В ту неделю в Институте Африки проходила многоцелевая конференция без широкой публики, а, наоборот, с узкой когортой наиболее выдающихся исследователей. Интерактивная деятельность поощрялась. В рамках интерактива политолог и антрополог Джин Страто был приглашен на семинар по Rare Earths, то есть по редкоземельным ископаемым. Он не очень разбирался в этих металлах и кислотах, во всех этих скандиумах, иттриях и лантанидах, однако уловил важнейшую для себя мысль: редкоземельным элементам принадлежит колоссальное будущее в постиндустриальном обществе, в технологии новых катализаторов и сплавов. В этом смысле, господа, Африка чревата колоссальными геологическими открытиями, особенно в зонах ее активных вулканов.

Вот куда надо отправляться, а не в Москву-кву-кву, в город, провонявший бедой, где все жители рыщут день-деньской за колбасой, а жулье хлещет «винтовую» водку и обжирается валютными «нарезками», где «флагманы перестройки» зовут к демократии, а власть готовится ко «дню-икс», где разваливаются двери подъездов и засираются лифты, в город, куда еще можно въехать, но откуда нельзя выехать без всех этих партийных, комсомольских и гэбэшных комитетов, в лучшем случае без всевозможных «свояков». Он хотел было обо всем этом всерьез поговорить с Ашкой, но каждый день откладывал, пока вдруг не увидел, что та пакует чемоданы.

«Ты куда это собираешься, мать-красавица?» – спросил он.

«В город, который мне дороже любого Габона», – ответила она и продолжила сборы.

В первый же вечер в Москве, когда по старой памяти протырились поужинать в Дом-жур, они наткнулись на Гурама Ясношвили. Тот был весь в коже: кожаный черный пиджак, кожаные черные штаны, а сверху внакидку кожаное черное длиннущее пальто; да, чуть не забыли – кожаное черное кепи! В этом прикиде даже среди гардеробной толпы он производил впечатление исторического памятника.

«Ребята, да вы никак вернулись! – вскричал он. – Вот это, слушайте, здорово! Слушай, Ген, а ты знаешь, меня тогда из-за твоего „Америкэн Экспресса“ чуть не расстреляли! А Катьке пришлось тут же за фуевого полковника замуж выходить. Слушайте, Ген и ты, Ашка-красавица, давайте пошлем всю эту дипломатию, по-грузински говоря, на гомохлебуло! Давайте начнем КООП, ООО, совместное, понимаешь, с немцами-австрийцами предприятие! Примкнем к комсомолу, они нас будут *крышевать*, слушай. Лады?»

Начался бизнес. Получали кожу из Турции. Машины для раскройки из Финляндии. Пошив в Риге. Сбыт в Москве. Потом возник бизнес с кассетами, с софтваэ, с кетчупом, зимними шинами, джинсами, теплыми сапогами, а также с так называемыми карбонидами, то есть удобрениями и т. д. Ашка была очень активна в бизнесе. Очень быстро они разбогатели, как все активные люди в ЦК ВЛКСМ. Купили дачу, «Волгу» и «Ниву». Потом появился бывалый, но надежный «Рэнджровер». Охранников посылали заправлять весь этот автопарк на первую капиталистическую заправочную станцию «Ажип». Там уже их знали, называли «беспокойные сердца»; в общем, стоянием в очереди ребята себя не унижали.

На очередной встрече во Фрунзенском райкоме КПСС представители Родины поставили вопрос не то чтобы ребром, но под ребро. Господа, давайте уточним, какие молодые компании здесь присутствуют и в лице каких руководителей поименно.

Бизнесмены сидели в довольно свободных позах: кто нога на ногу, у кого нога на подлокотнике кресла, у третьего руки сцеплены на затылке. Можно было заметить, что молодые люди обмениваются улыбками, выражающими некоторый дефицит уважения по адресу асимметричных представителей. Все-таки начали уточнять: «Менатеп» – Ходорковский, Лебедев, Невзлин; «Олби» – Бойко, Гербер; «Альфа» – Фридман, Авен, Гафин; «Мост» – Гусинский, Бранденбур; «Логоваз» – Березовский, Дубов, Патаркацишвили; «Таблица-М» – супруги Стратовы, Ясношвили...

Асимметричные лица, проверив свои списки, сделали ключевое заявление. В вашем лице, господа, мы видим отчетливое отражение современного комсомола. (Кто-то из присутствующих обеими руками нарисовал некое обобщенное лицо.) Мы хотим, чтобы между нами установилось полное доверие. Фактически речь идет о подписании исторического контракта между властью и бизнесом. Родина вступает в фазу разборки социализма. Вы можете стать монтажниками нового общества. Призываем вас, не оглядываясь, идти вперед и создавать частные мега-структуры. Обогащайтесь ради демократической альтернативы. Для ускорения процесса Родина пойдет на инвестиции начальных капиталов. В недалеком будущем возникнет инициатива приватизации промышленных предприятий. Нужно, чтобы вы были к этому готовы. Предупреждаем всех: подписав лежащие вот на этом столе бумаги, вы становитесь неотъемлемой частью исторического контракта. Родина будет внимательно следить за обоюдным выполнением всех положений этого документа.

Ну, подписывайте те, кто Родине доверяет.

Присутствующие переглядываются. Змейкой проскальзывает общая мысль: да разве можно этой твари доверять? Вдруг Ашка Стратова легкой походочкой, руки в карманах кур-

точки, проходит к столу. Вынимает правую, в которой зажато стило «Монблан». Давайте, я распишусь за корпорацию «Таблица-М»!

Лиха беда начало. Через несколько минут уже вырастает очередь. Ну теперь посмотрим, кто кого!

Блики 1990-го

В тот блаженный летний сезон ЦК комсомола дерзнул устроить для Секретариата и актива (включая и девчат) двухнедельный отдых на острове Кипр. Никто, между прочим, тогда не знал, что популярный среди пьющих русских отечественный одеколон «Шипр» назван так как раз в честь этого острова; только полиглот Ген Стратов слегка чуть-чуть догадывался. Всем комсомольским вольноотпущенникам была дана на острове полная свобода – и все разбредались, кто группами, а кто и парочками, на наемных тачках, кто в Лимасол, кто в Ларнаку, кто в Пафос, а иные даже норовили пробраться за посты ООН в город-призрак Фамагусту. Ну купались за милую душу, ныряли с аквалангами, взмывали в безоблачное небо на парашютах, влекомых быстроходными катерами, а самые дальновидные между делом открывали первые в советской истории оффшорные банковские счета.

К таковым дальновидным относились, разумеется, и супруги Стратовы. Едва устроившись в своем полулюксе, они позвонили с данного острова на другой, где писал свои мемуары крупный деятель нашей партии, товарищ Кортелакс, то есть на остров Мальта.

«Вы, надеюсь, не с пустыми руками, ребята?» – спросил многоопытный летописец.

«Багаж небольшой, дядя Лев, но все-таки...» – с соцреалистическим задорцем ответствовала Ашка.

«А все-таки что там у вас, в багаже-то?»

«Ну чемодан, ну два рюкзака, ну дипломат».

«А сколько там у вас, в дипломате-то, один или два?»

«Полтора, дядя Лев».

«Ну для начала неплохо. Тогда, значит, запиши телефон моего дружка Василию Ваксенакиса, греческого патриота, то есть киприота. Полагайтесь на него, как на меня».

«То есть с осторожностью, дядя Лев?» – невинно осведомилась деловая женщина.

Хрящ, значитца, расхохотался и так, расхохотавшись, попросил передать трубку Гену. «Ну и девка у тебя, Генчик! Вот бы мне такую в дочки. Или просто в партнеры».

«А мы, между прочим, дядя Лев, к тебе собираемся. Вот и обговорим у тебя Ашкино партнерство».

«Неужели осчастливите старика?»

«Если старик нас осчастливит. Можешь устроить нам визы в Габон?»

«Без проблем. Это где такой Габон размещается? В Латинской, что ли, Америке?»

«Гораздо ближе, в Западной Африке. И в то же время дальше всех Америк. Там сейчас вдобавок к республике еще король такой правит по имени Ранис Анчос Скова Жаромшоба».

«Ну этого-то я лично знаю. Хороший мужик. Визы у вас в кармане».

К концу кипрских каникул Ген сказал комсомольцам, что им надо на несколько дней «смотреться в Габон» по вопросам бизнеса редкоземельных ископаемых. Те переглянулись и, конечно, дали добро. Как можно тормозить нашего собственного выдвигенца на пост самого последнего Первого секретаря Ленинского коммунистического союза молодежи, ведь в эсхатологическом смысле он нас всех выше на голову.

Полет из Ла Валетты в Либревиль с пересадкой в Лагосе прошел почти по расписанию. Увидев щелкающий под океанским бризом зелено-желто-синий флаг Габона, Ген положил

руку на грудь Ашки, а та прикоснулась к его бедру. Страсть уже одолевала их, однако ночью в гостинице они не прикоснулись друг к другу: берегли свое чувство для вулкана.

Путь к вулкану лежал через Порт-Жантиль, куда можно было добраться либо по воздуху, на желто-зелено-синем гидроплане времен расцвета французской колониальной империи, либо по морю на небольшом кораблике той же эпохи, на носу которого, словно скульптура Сезара, стоял заржавевший зенитный пулемет. Выбрали, конечно, первый вариант – быстрее-быстрее к сладостному жерлу, прародине редкоземельных элементов и космической страсти. При полете, однако, оказалось, что аппарат не может приводниться: бухта Порт-Жантиля бурлила под налетающими шквалами ослепительной безоблачной бури. Пришлось возвращаться в столицу и нанимать плавсредство. Капитан запросил неслыханную в этих местах сумму, тысячу баксов, и тут же ее получил. Потрясенный такой удачей, длинноносый, неопределенной этнической принадлежности капитан унесся куда-то в джунгли, перемешанные с металлоломом, очевидно, для того, чтобы где-то там зарыть десять сотенных, а вернулся, прыгая на одной ноге: очевидно, кто-то или что-то вонзилось ему в другую ногу. Во время шестичасового плавания у него разыгралась какая-то лихорадка, сопряженная с жутким вздутием стопы. Вдобавок к этим мучениям на борту начался бунт экипажа, то есть двух престарелых пиратов, мужа и жены, которые требовали у капитана половину щедрого русского гонорара. Стратовы сидели в своей крошечной каюте, а над их головами по палубе то и дело прокатывались волны наступлений и отступлений с матерными французскими проклятиями, со свистом каких-то ятаганов, с яростными взрывами пустых бутылок; огнестрельного оружия, кроме застывшего навеки зенитного пулемета, на борту вроде бы не было, иначе бунт, вполне осмысленный, но все равно беспощадный, не продолжался бы битый час.

Ген, который в таких экстремальных обстоятельствах напускал на себя мину стоического спокойствия, с той же миной предположил, что кораблик, крутящийся в полукилометре от берега, сейчас перевернется. Ни малейшего изумления не выказал он, и когда Ашка вытащила из рюкзака два австрийских пистолета «Глок». Вооружившись, они выбрались на палубу и увидели катающийся от борта к борту клубок из трех тел; союз двух против одного к тому времени уже распался, каждый дрался сам за себя. Два выстрела в воздух заставили неистовых габонцев образумиться. Продолжая изрыгать проклятья и стонать, они вернулись к своим обязанностям: капитан перехватил идиотически крутящийся штурвал, матросы встали со швартовыми и крюками у левого борта.

На мостках пристани к этому времени собралась уже порядочная кучка горожан. Они хохотали, подпрыгивали и аплодировали. Похоже было, что многие запомнили чету Стратовых по их первой экспедиции. И почему бы не запомнить – ведь прошло всего лишь пять лет, и русская пара к своим тридцати годам не убавила ни в молодости, ни в красоте, а по некоторым приметам багажа прибавила в достатке.

Габонцы редко упускают малейший повод к проведению очистительных и вдохновляющих ритуалов. И вот уже застучали тамтамы, затрубили дудки, зазвенели ксилофоны, чьи клавиши здесь вырезают из священного камня мбигон. Мэр Порт-Жантиля, босой, как и все остальные граждане, приплясывал, придерживая весьма увеличившееся за эти пять лет пузо. Он хорошо помнил этих молодых представителей великого Советского Союза и называл их по именам, месье Жи и мадам Аш. Забыв на минуту о своем пузе, он пригласил их на ужин и ночевку в свой дом. Заодно, дорогие Жи и Аш, мы обсудим великие таинства марксизма.

За ночь шквалы улеглись. Безбрежное золотое небо на востоке очертило темно-синий горный хребет, предвещающий восход солнца. Предвещание сбылось, наступил новый габонский день. Мэр вместе со своими служащими, иными словами, со всей семьей, решил сопроводить молодых толкователей марксизма при подъеме на гору. Для этой цели он обуз-

дал свое пузо дополнительной майкой и подвязал ее у себя на шее. Экспедиция растянулась, почитай, на четвертуху километра. Сначала они шли по удобоваримым тропам и пересекали кристально-бурливые реки по висячим мостикам. Иногда на пути встречались крохотные деревушки, чьи жители проводили утренние ритуалы по умиротворению древесных духов, проживающих в местных вариантах растения тамариск. На высоте полутора тысяч метров джунгли стали гуще, поселения больше не встречались, однако Гену и Ашке, как и в первый раз, все время казалось, что они находятся под чьим-то неусыпным наблюдением.

Ашка поделилась этим ощущением с вице-мэром, то есть с первой женой мэра. Та весело, заливисто рассмеялась. Да ведь это гориллы! Живут здесь на высоких склонах и налогов не платят. И сразу после этой неплохой шутки на опушку вышло несколько двухметровых волосатиков. Приблизившись к людям, они стали пружинисто прыгать, бить себя в грудь на манер баскетболистов НБА, радостно скалить зубы, и только их слегка трагические глаза, казалось, не участвовали в этом всплеске эмоций.

«Да они ведь вас узнали, товарищи! – вскричал мэр. – Я всегда говорил, что советские люди обладают каким-то необъяснимым притяжением!»

Ну тут уж Ген и Ашка стали подпрыгивать, скалить зубы и бить себя в грудь, да к тому же еще и сиять отнюдь не трагическими, а скорее слегка нахальными глазами. Одна из гориллиц, поймав на лету какую-то стрекозу, разжевала ее передними зубами, после чего приблизила жвачку к пунцовым губам белокожей самки. Ашка, ничтоже сумняшеся, мгновенно проглотила слюнявый комочек. Завершилась эта встреча объятием двух светлокжих с двумя волосатиками, после чего все гориллы солидно удалились.

Экспедиция на той же опушке расположилась на ланч. В центр круга была вынесена плетеная корзина с кровяными колбасами. Служащие мэрии тут же обучили иностранцев традиционному способу поедания этих предметов. Нужно взять мягкую колбасятину одним кончиком в рот, прокусить оболочку и, нажимая пальцами по всей длине, высосать все содержимое без остатка. По завершении этой процедуры все участники ланча остались сидеть со свисающими изо ртов пустыми оболочками, напоминающими использованные презервативы. Ген поспешил поделиться со всеми этим глубокомысленным наблюдением, и все покатались со смеху.

По завершении ланча Ген и Ашка встали и раскланялись. Любезнейшие габонцы, мы очень высоко ценим ваше гостеприимство и обещаем ответить вам тем же на нашей прохладной родине. Засим до свидания! Нет-нет, вскричали габонцы, мы проводим вас до самого кратера. Стратовы еще раз раскланялись. Извините, друзья, но боги марксизма Перун и Ярило повелевают нам завершить это восхождение без сопровождающих лиц. Оревуар, любезнейшие габонцы! Оревуар, оревуар, послышалось в ответ. Не было более веских причин для социалистической администрации, чем повеление богов.

К концу этого великолепного дня, изрядно ободрав ладони и колена, Стратовы достигли кратера вулкана, где несколько лет назад они сотворили чудо зачатия своего первенца; напоминаем: безукоризненного ребенка Парасковьи; дополняем: пребывающего сейчас под присмотром деда Эдьки, бабки Элки, прабабки, майора ВВС Верочки, а также голландской бонны по имени Беатрис. Здесь, на краю кратера, они закрепили канаты, опоясались ремнями скалолазов и начали спуск в жерло вулкана, к пещере. Ярое солнце габонского дня быстро приближалось к раскаленному океанскому горизонту, но еще быстрее любовники уходили в сумерки гигантской впадины. Прошло не более пяти минут спуска, как небо над жерлом странным образом преобразилось: лиловатое и бесконечно прозрачное, оно сфокусировалось над двумя слегка вращающимися на своих канатах телами. Звезды явились щедрой россыпью, но вместо обычной своей невозмутимости они демонстрировали сейчас исключительную заинтересованность судьбой влюбленных и яркое янтарное мерцание. Над

скальным гребнем вулканного края вдруг объявилась идеально круглая и объемная Луна, покровительница их любви и редкоземельных элементов.

Тут внезапно произошел отрыв от вертикали, Ген повис в воздухе и начал вращаться на своем канате. Он стал искать глазами Ашку и увидел, что и ее легкое тело вращается все быстрее и быстрее. К этому вращению вокруг своей оси прибавилась и неуправляемая раскачка, чья амплитуда все больше расширялась, грозя вlepить его любимую в каменный отвес. «Ген, тебе не кажется, что я от тебя улетаю?» – не без любопытства произнесла она, и этот шепот, как мощное эхо, залепил ему оба уха. Каким-то чудом ему удалось закрепиться на вертикальной стенке, и в тот момент, когда из темно-лиловой бездны сверху на него понеслась повисшая, как добыча невидимого хищника, или, так скажем, невидимого, но ярко воображаемого демона, ярко освещенная небесными источниками, едва ли не превращенная в объемное, но не телесное изображение, в тот самый момент, когда оно, это изображение, должно было пронестись мимо него в двух метрах, чтобы тут же унести прочь, он оттолкнулся от отрицательной вертикали, прыгнул в пустоту и успел обхватить ее спину, ее такие любимые лопатки и дать ей возможность прилипнуть к нему, главному для нее Гену человечества.

После этого раскрутка и раскачка прекратились, и они повисли в объятиях друг друга над бездной, в глубине которой уже возжигался медлительный калейдоскоп, запомнившийся им с той самой первой ночи Габона. Интересно, что, несмотря на всю экстремальность этого трюка, а может быть, и благодаря оному, в них немедленно вспыхнула полностью не обузданная страсть.

«Ну давай, Ген! Можешь стащить с меня шорты?»

«А ты можешь оттянуть вниз мой зип?»

«Ну вот я взялась за тебя! Какой ты твердый и горячий!»

«А моя рука лежит на тебе! Какая ты мягкая и горячая!»

Из жерла вулкана начал подниматься опьяняющий пар. Их губы слились в нескончаемом поцелуе. Ашка начала осторожно поднимать и раздвигать ноги, стараясь утвердить свои пятки на ягодицах любимого. Им обоим казалось, что они навсегда, словно осенние пауки, повисли над бездной в своем объятии, а между тем их канаты продолжали растягиваться, опуская их вниз сантиметр за сантиметром. Закатный мрак загустел настолько, что потерял свою лиловость и обрел вместо нее ночную космическую прозрачность, и только когда, по словам Аристофана, «возникло яйцо из круженья стихий,/ И ночь возложила его, овевая / Своим соболиным плюмажем» (старый шут, конечно же, имел в виду Луну), только тогда Ген и Ашка почувствовали под собой твердую почву и, не размыкая объятий, повалились набок.

В принципе, эти супруги вычислили с удивительной точностью свое движение вниз к блаженной пещере, и если бы случайно не оторвались от вертикальной стенки, прибыли бы на место назначения без всяких приключений. Впрочем, как говорят в продвинутых туристических кругах, опытные англичане нередко сами придумывают для себя всевозможные препятствия и приключения, чтобы путешествия закрепились в памяти. Спуск Стратовых тоже оказался незабываемым. Теперь они лежали, обнявшись, на плоском балконе пещеры, который за годы их отсутствия покрылся мягкой благоуханной травой, напоминающей ложе царя Соломона и Суламифи. Прошло не менее и не более пяти световых, или слуховых, или просто осязательных секунд, прежде чем однолюб Ген поднял ноги своей суженой и вошел в нее с предельной однолюбостью. Я твоя, шептал муж своей жене, я – Ашка. Я твой, шептала жена мужу, я – Ген. Мы входим в мир первичных зачатий, думали они, когда молчали, занятые любовной работой. Нас окружают вещи в себе, все еще сияющие своей непостижимостью. Мы сами вещи в себе и друг в друге; неужто мы покинули тварный мир? Вот говорят иногда, пытаюсь понять, что такое счастье, что это лишь мгновение непостижимости, прикасающееся к коже, как летучий ожог, но этот миг в жерле космического колодца, в

нашем влагалище, с нашей раскаленной резкоземельной втулкой – неизмерим. Ты можешь еще говорить? Кажется, нет. Ты помнишь еще нашу задачу? Кажется, да; это зачатие Никодима. Точка с запятой, точка с запятой, точка с запятой;;;;;;; Начинается извержение. Сонмище охотников кружит вокрух сияющего яйца? прдлжтс ооаея иеее звржн. Упади своей головой на мои груди, высоси мне левую грудь. Дай мне оседлать тебя и склониться, высоси теперь мою правую. Калейдоскоп внизу взбух и выплюнул гигантский аэростат космической магмы. Плевок прошел мимо пещеры, не уничтожив, но лишь обдав сокровенным жаром два тела, катающихся по Соломоновой траве. Прошел к Луне, был поглощен Луною. Звезды превратились в «Бранденбургский концерт» вместе с «Пятой», вместе с «Шествиями» Прокофьева. Два возмутителя спокойствия, преисполненные музыкальной энергии, блаженно заснули.

Утром все было залито солнцем. Где-то по соседству кукарекал дикий петушок. Змей-соблазнитель покачивал башкой, мимикрируя под Древо Познания. Мимо пещеры проскользнули на канатах толстозадые немецкие туристы. Труссы куда-то пропали. Ген встал и натянул шорты на голые чресла. Ашка еще спала, подложив под щеку свою толстую косу. Пусть спит, подумал он, изнывая от нежности. На голый торс он надел разгрузочно-погрузочный жилет агрессивного блока НАТО с множеством больших и малых карманов. Медленно стал обходить пещеру и брать пробы земли, камешки, отколупывать от обнаженных геологических срезом какие-то полоски расщепленного материала; все это раскладывал по пластиковым мешочкам и рассовывал в карманы РПЖ. Таков все-таки современный человек, во всяком случае, тот, кого позднее стали называть «новым русским», Любовь, конечно, – это главный движитель жизни, но прямо вслед за ней, едва ли не наступая ей на пятки, шествует Бизнес. Было бы глупо уйти из этого мира земных и космических восторгов, из самой активной впадины почти не тронутого континента, не собрав образцов Rare Earths. Ведь наше поколение, зародившееся в недрах смутно бунтующего советского комсомола, само сродни редкоземельным элементам, нужным для разработки новых сплавов новой фазы человеческого развития, эры новых энергий, грандиозных сумм свободно конвертируемой валюты. Так или иначе мы отрываемся от оскверненных совдепом поверхностей, вернее, мы снимаем на выброс их первый экологически заразный слой. Конечно, глупо цепляться за патриотизм на исходе XX века, неглупо все-таки развивать то, что я, Ген Стратов, назвал бы планетаризмом. Развитие и усовершенствование человечества как единой земной расы – разве может быть более высокая цель у всей череды человеческих поколений? И тот, кого мы прошлой ночью с Ашкой...

«Ген! – услышал он зов любимой. – Посмотри-ка на своды пещеры!»

Всякий, кто бросил бы пылливый взгляд на высокие своды, сразу бы понял, что здесь плодятся не только люди. Там, среди сталактитов, висели кульки спящих летучих мышей, трепетали крыльями разнокалиберные птицы, копошились еще какие-то твари вроде лему-ров, но с преувеличенными мыслящими глазами.

«Ты слышишь этот хор, Ген? Слышишь, как они все вопрошают: кто мы? Кто мы? Кто мы?»

Смеясь, она пошла к нему, но остановилась в пяти метрах от него под сводами, полными жизни. Нагая, со следами его поцелуев на шее, с напухшими губами и с наливающимися новой страстью девчачьими грудками, она теперь стояла в застенчивой позе. Ген старался на нее не смотреть. «А интересно, где же прячутся пауки, ставшие уже хорошей комсомольской традицией?» – поинтересовался он. И не успел он этого произнести, как над ними зависли, слегка раскачиваясь и вращаясь, два паука, не менее прекрасных, чем те, четырехлетней давности, которых он, помнится, сравнил с сомбреро. И так же, как тогда, по нитке родительской слюны сновал паучий ребенок размером не более шпульки мулине.

«Ген, ты хочешь, чтобы я к тебе подошла?» – срывающимся голосом спросила Ашка.
«Так мы с тобой отсюда не выберемся, – пробормотал он, – Ашка такая-таковская! Ты дразнишь меня Приапом, а сама-то кто? Настоящая нимфа Калипсо, владычица Одиссея!»

Они все-таки выбрались. Подъем прошел на удивление споро, то есть без всяких срывов в бездну. Едва они перевалили за край кратера, как тут же увидели весь актив Порт-Жантиля во главе с мэром-марксистом. На буколическом холме среди молодых кедров уже дымил костерок, варился довольно противный на вид суп с плавниками акулы. Хлопали пробки шампанского.

«Вчера наши службы задержали танкер с контрабандным мазутом и наложили на него штраф, – пояснил мэр. – В честь этого подвига и в вашу честь, дорогие товарищи, совершенно это дерзкое восхождение». Пузо лежало у него между ног, и он пытался выбить на нем ладонями браваурный туш, впервые услышанный на слете ленинской молодежи в столице ГДР.

«Скажите, господин мэр, знаете ли вы местного короля по имени Ранис Анчос Скова Жаромшоба?» – спросила его Ашка. Он посмотрел на нее и слегка потупил глаза. «Несравненная мадам Аш, от которой слегка кружится голова, мне трудно сказать, знаю ли я короля до конца, но это я сам».

«Вот это здорово! – Ашка пощекотала у короля за ухом. – Скажите, а мы можем у вас купить кусок земли?»

Тут уже и Ген рядом присел с чековой книжкой кипрского банка.

«Сколько квадратов вы бы хотели?» – спросил король.

«А сколько вы можете предложить, ваше величество?» – Ашка заглянула глубоко-глубоко в рыжеватые глаза суверена.

«Десять квадратов вас устроит? – спросил тот и уточнил: – Десять квадратных километров, если угодно».

«Вместе с вулканом, не так ли?» – уточнил в свою очередь Ген.

«Ну, конечно, с вулканом. Как же можно продавать землю без таинственного вулкана?»

«И сколько вы за этот кусок хотите, товарищ король?» – спросил Ген.

«Десять», – тут же ответил Жаромшоба, и Ген слегка взвыл от огорчения: десяти миллионов у них еще не было.

«Земля тут у нас очень хорошеет и поэтому дорожает, – пояснил король. – Год назад она стоила восемь тысяч, а теперь стоит десять тысяч».

«По рукам!» – повеселел Ген.

«Одну минуточку, – вмешалась Ашка. – Мы заплатим вам, ваше величество Ранис Анчос Скова Жаромшоба, сто тысяч долларов за десять квадратов этой земли с вулканом, чтобы в будущем не возникали споры».

«Ах, мадам Аш, у меня от вас еще сильнее кружится голова, – пропел король. – И зовите меня, пожалуйста, просто Ранис Анчос Скова».

IV. Позор! Долой!

Толпа на площади Дзержинского ближе к ночи становится все гуще. По крайней мере две ее трети состоят из молодежи. Из нее две трети облачены в униформу безоружного восстания: курточки до пояса, джинсы, кроссовки. Вот вам и возвращенный партией комсомол! В сердцевине площади, вокруг статуи «козлобородого палача», раскачивается движимый неясным ритмом сплошняк самых активных. Сплоченные группы людей, потрясая сжатыми кулаками, скандируют какие-то лозунги. По мере приближения становятся слышны два главных слова: «Позор!» и «Долой!». Откуда сразу взялось такое множество трехцветных знамен? Кое-где на углах площади среди толпы стоят танки таманцев или кантемировцев, стильные девчонки, оседлав броню, размахивают трехцветными полотнищами. Кто-то, поднятый товарищами, начинает карабкаться на статую. На плечах у него завязан российский флаг. Два силача бьют кувалдами в драгоценный гранит. Монумент недвижим. Со всех сторон на пьедестале мажут несмываемыми белилами оскорбительные словеса. Ближе к нам рыдает пожилой небритый человек в зажеванном и заляпанном плаще-болонье: «Неужели сбылось, неужели мечта всей жизни осуществилась, неужели гадам конец?» Кто-то протягивает ему бутылку водки: «Хлебни, отец, за свободную Россию!» Водочные бутылки мелькают кое-где. Так называемое шампанское используется в основном для пенных салютов. Вдруг на периферии площади поднимается над головами огромная туба, вокруг нее теснятся кларнеты и банджо; диксиленд мажорно трубит Now's Time!

Девчонки, мальчишки, а также и всякий бомжатый народ выплясывают трепака. Какой-то малый в куртке стройотряда кричит: «Надо на штурм идти, а эти выплясывают!» Повсюду огни: пламьенки зажигалок, фары застрявших автомобилей, лампы кинохроники. И лишь массивная громада КГБ хранит полнейший мрак. Ни в одном из множества окон нет ни малейшего освещения, никто не стоит у окна с папиросой в раздумьях о судьбах вверенного им государства, никто зажигалкой не чиркнет. А ведь бывало – и в глухой ночи то одно окошко засветится, то другое, то в разных местах, то по три подряд. Сейчас твердыня зиждется за темно-серой спиной основателя, мраком своим намекая лишь на полнейшую пустоту: дескать, если штурмовать задумаете, ничего и никого в нашем сердце не найдете.

Стратовы подошли к площади со стороны Политеха. Новенький «Лендровер» был оставлен возле ЦК ВЛКСМ. Ген нес на плечах шестилетнюю Парасковью. Трехмесячный Никодим сидел в кенгуровой сумке на животе Ашки. Младенец крутил головой, озирал все большущими глазами, как будто старался удержать в памяти происходящее. По пятам шла охрана, два каратека черного пояса Сук и Шок. По приказу хозяев они делали вид, что не имеют к семье никакого отношения.

Вначале по пути к площади супруги хранили полное молчание. Не смотрели друг на друга. Ссора произошла еще в машине, когда Ген сказал, что пойдет туда один. Не получив ответа, он приказал каратекам отвезти Ашку с детьми домой. Уехать из Москвы, запереться на даче, никого не принимать, на звонки не отвечать, пока он не позвонит по закрытой линии. Только после этих императивов Ашка взвилась. Как он смеет говорить с ней таким тоном? Что я тебе, домашняя гусыня с выводком? Мы все с тобой делаем на равных, «Таблицу», семью, любовь! Как он смеет приказывать? Боишься за семью? А ты знаешь, что, пока ты шлялся на своем самолете со своими алкоголиками по Сибири, в ночь, когда ждали атаки «Альфы», мы были у Белого дома? Ты что, не понимаешь, что я должна, должна, должна все это видеть своими глазами?

«Мама права!» – воскликнула Пашка. «Да-да-да», – проговорил за сестрой трехмесячный младенец. И только тогда Ген молча вылез из машины и помог жене и детям выгрузиться.

Пока шли к площади, напряженка рассеялась. Вокруг царил карнавал веселой победившей революции. Народ шел с гитарами, сиял. Голосили разудалые антисоветские частушки, знакомые им со времен ранней юности.

Наш родной советский герб,
Справа молот, слева серп!
Хочешь жни, а хочешь куй,
Все равно получишь ...

Рифмованная концовка тонула в хохоте. Ашка схватила Гена за ухо, развернула его голову и вlepила великолепнейший поцелуй в губы. Сук и Шок на правах случайных попутчиков сделали два сальто, прямое и обратное, а потом вместе подпрыгнули, подняв над головами черчиллевские рогульки. V for Victory! Виват, Россия!

Возле спуска в подземный переход с платформы грузовика с откинутыми бортами семью позвали: «Ген, Ашка, залезайте к нам вместе с вашими отпрысками!» Два случайных прохожих, то есть Сук и Шок, немедленно предложили свои мускулистые длани, и через минуту Стратовы уже стояли среди своих, комсомольцев Центрального Комитета. Кто-то тут же предложил «хлебнуть». Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, то есть рок-н-рольные! Ура, ребята, Ген с нами! Где ты был, чертов Ген? Искали тебя по всему городу. Да я только что прилетел из Сургута. Ну вот и пришлось без тебя, без нашего философского вождя, объявлять самороспуск. Боялись упустить исторический момент. Миша, Витя, передайте Гену «матюкалку», пусть теперь он толкнет речугу! Один из секретарей через усилитель представил оратора. Дескать, товарищи, от имени самоупражденного комсомола слово имеет наш гениальный, то есть почти генеральный, в общем, друг, бывший секретарь бывшего ЦК, ныне президент корпорации «Таблица-М», миллионер Ген Стратов, вкратце так. Народ вокруг грузовика стал оборачиваться и прислушиваться. Кое-кто уже покрикивал. Дескать, давай, в целом, Ген! Вруби гадам, как говорится, не глядя! Позор, так сказать, гэбэшному гадюшнику! Долой!

Ген взял усилитель и с ходу начал влиять на толпу своим неповторимым баритоном: «Приветствую вас всех, господа, и поздравляю с победой! Слава россиянам, отстоявшим Белый дом! Горжусь принадлежностью к самороспуску коммунистического союза молодежи! Вообще, между прочим, горжусь комсомольским прошлым! Неправда, что комсомол только лишь и делал, что поставлял кадры госбезопасности. Мы все-таки были молоды, и нам претила идиотская власть большевистской геронтократии. Родители мне рассказывали, что еще в 1968 году в Новосибирском академгородке комсомол создал почти капиталистическую структуру под названием „Факел“: они принимали заказы от предприятий на технологические разработки и выполняли их силами молодых ученых по рыночным расценкам. Каково? Да, разумеется, комсомол возрос на корявых стволах уродливой идеологии, однако он нередко давал хвойные ростки, похожие на нежно-зеленый укроп или пастернак. Взять хотя бы комсомольские попытки отстоять современное искусство от партийных крокодилов. Будучи ребенком, я нередко вместе с родителями посещал молодежные кафе, которые создал комсомол шестидесятых, и там пристрастился к абстрактной живописи и сюрреализму. В сущности, все мое детство прошло под звуки полузапрещенного джаза, единственным защитником которого в тоталитарной стране был все тот же комсомол. Да здравствует джаз! Да здравствует новое общество, к которому мы сейчас радостно присоединяемся путем самороспуска! Позор душителям нового! Долой тоталитаризм!»

Публика, слегка приунывшая от многоречивости оратора, услышав самые популярные в ту ночь слова, радостно взревела: «Позор! Долой!» Сверху, с платформы «КрАЗа», было видно, что ораторы выскакивают то тут, то там по всему периметру большой круговой пло-

щади, особенной же популярностью среди новоявленных демосфенов и савонарол пользовался пьедестал душителя свободы слова. В толпе между тем можно было заметить некоторые стихийные подвижки: то возникал какой-то поток голов, то вдруг озеро синхронно вздымающихся рук со сжатыми кулаками; в целом вся площадь медлительно, но неуклонно сдвигалась к подножию темного здания. При всей карнавальности общего настроения вызывали тревогу проносящиеся по головам тени, как будто над площадью кружила стая валькирий.

А что же Сергей? Где его краны? Такие вопросы задавали друг другу бывшие комсомольцы. Ашка спросила, о чем идет речь. Оказалось, что ждут тяжелую технику, краны, которые помогут, ко всеобщему ликованию, стащить Козлобородого с пьедестала. Кто-то протащился шепотом: «Надо отвлечь толпу от призывов к штурму, переключить внимание от дома на памятник». Кто-то пробасил: «А это еще зачем? Пусть толпа идет туда, куда ее тянет импульс свободы». Кто-то бабахнул громогласно: «Пусть люди войдут в этот чертог, от слова „черт“, и зажгут там все лампы!» То тут, то там взлетали вопли: «Пусть рухнет все это национальное позорище! Вон в ГДР штурмовали Штази, а мы чем хуже?!» Кто-то снова протащился со свистящим шепотом: «Да вы что, ребята, с ума сошли? Там, говорят, за каждым окном стоит гэбня с пулеметами и гранатометами. Они нам тут такую площадь Тяньаньмэнь устроят, мало не покажется». Понеслись горячие выкрики: «Чепуха, армия на нашей стороне! Тут агентура рыщет в толпе, распускает дезуху. Никого там нет, за этими окнами, все давно разбежались! Надо открыть все двери, вот это и будет финалом нашей революции!» Снова мокрой тряпкой потащились шепоты: «А если комсомольцев начнут бить? Сами себя, что ли, будут бить? Тут все комсомольцы и члены партии! Поймите, друзья, если тут, на Дзержинке, заварится кровавая каша, вся страна покатится в пропасть!» Назревает истерика: «А вы-то какого черта с детьми сюда притащились, авантюристы дурацкие, ведь это вам не африканские каникулы!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.